

18+

Петр Альшевский

**«Точка
зрения
Корнилова»**

Петр Альшевский
«Точка зрения Корнилова»

«Издательские решения»

Альшевский П.

«Точка зрения Корнилова» / П. Альшевский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-552793-6

Д. Аксенов. «Мосты между мирами». «Критика была бы неорганична». Б. Журавлинский. Эзотерический сайт «Размытая горная цепь». «Небосвод никогда не пустует. Погрузившись, вы оцените». Н. Влежева. «Телефоны не для Инстаграм» «Сознаюсь, меня заставили улететь». Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-552793-6

© Альшевский П.
© Издательские решения

Содержание

Сливая кровь его в стакан	44
Конец ознакомительного фрагмента.	62

«Точка зрения Корнилова»

Петр Альшевский

© Петр Альшевский, 2021

ISBN 978-5-0055-2793-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«... и заснул со счастьем равнодушия к жизни»

А. Платонов

1

У Корнилова было неважное настроение, и это было почти единственным, что было у него в данный момент. Морально. Монумент. Монстр. Слова подобраны просто и верно. Упор на бесцветном глаголе «быть» сделан во избежание восприятия его ситуации, как чего-то излишне яркого. И хотя у него – опять же – была красивая женщина, с которой он совместно проживал несколько последних месяцев, главным плюсом их совместного проживания являлось для него то, что оно проистекало на ее территории.

Женщину звали Мариной и она вкалывала – зарабатываемые ей деньги безоблачного завтра им не обещали, но ее это особо не тревожило, а Корнилов вообще никогда не рассчитывал на многое: он вряд ли бы подошел к курившему под кленом священнику с таким выражением лица, как у депрессивного клерка Екименко, спросившего у святого отца: «Я уже не молод, но до сих пор не понимаю на что же я вправе рассчитывать в этой жизни – на что же, отце, на что?».

Священник мудрый мужчина лет пятидесяти, курящий возле своей церкви вторую сигарету подряд – у него перерыв между службами и, не бросаясь на шею замечтавшемуся поодаль бродяге, он ответил Екименко: «На что ты вправе рассчитывать? Прости, сын мой, но в основном, ни на что».

Для понимания данной аксиомы, Корнилов не нуждался ни в каком священнике. Он не строил свою психику на страхе перед адом и белой горячкой, и нечасто переступал границы естественной копуляции; Марина работала в расположенном на Пятницкой офисе, где им с Корниловым и довелось познакомиться – когда она поступала на службу, его как раз оттуда выгоняли. Не в шею, но и не без злорадства – должность ночного сторожа или смотрителя ночи, на которой он подрабатывал для пропитания снов, требовала приводить в себе целую свиту подхалимов ответственности: Корнилов постоянно забывал заказывать для них завизированный сердцем пропуск и они – его иронично прищуренные взгляды на жизнь и фундаментальные аппетиты этой должности – категорически не состыковались.

С Мариной он столкнулся на выходе, нечаянно задев ее плечом. Она удивилась отсутствию извинений – растирание ушибленного места обретало звуковую поддержку в обвинительном скрежете еще не достигших рубежа выпадания зубов – и в высшей степени недружелюбно бросила ему в след:

– Ну, вы и хам.

Корнилов медленно обернулся.

– Надо же, – сказал он, – хотя бы кто-то здесь называет меня на «вы». Бога и того зовут на «ты», а меня вот иначе. Только не надо так себя утруждать – попробуйте отнестись ко мне,

как к странному волку, вышедшему из чащи и притаившемуся возле охотничьей винтовки. Он ждет, когда, проснувшись, они его пристрелят, но он этого ждет, не забывая пополнять свои глаза застывшей над ними луной... Я Корнилов, а кто вы, мне ясно и без имени.

Марина крайне неожиданно для себя пожала протянутую руку, и все как-то заладилось: они не расставались до вечера, активно переждали ночь – *couleur locale* звездного мрака – дождливым утром, поведав Марине басню своей правды о приснившихся ему на рассвете чувствах, Корнилов никуда не ушел и, оставшись у нее некоторое время погостить, внемлительно пообещал ей не испытывать стеснений, приличествующих его предстоящему статусу по-хозяйски обжившегося гостя. «Хорошего не обещаю, от плохого не уберегу, полетаем, подышим, попробуем». Однако некоторое время впоследствии явно затянулось, и Корнилов уже почти ежедневно задумывался о том, что отношения их сексуального бытия в скором времени потребуют обязательного участия мужчины с кадиллом – и речь с ним пойдет не об их закреплении венчанием, а, как ни отбивайся молитвословом предпочтений от алчной гидры неминуемости, об их отпевании.

Поначалу все было неплохо: они или ходили куда-нибудь вместе – картинные галереи, где они метали глазами в избежавшего подлинности Сезанна; подпольные цирки, где нетрезвые метатели ножей метали озабоченную сталь уже в них; театры, кафе и набережные – или Марина уходила одна: хмуро и на работу – и Корнилов весь день дожидался ее возвращения. Без панических предчувствий.

Формы его ожидания преимущественно состояли в неспешных прогулках по близлежащему парку, употреблению приобретенного там пива и изыскании следов обитания замеченного им на отслоившей глянec пасхальной открытке человека-совы.

Находившись – неудача в поисках компенсирующе заменялась осознанием великой прозрачности выбранного им течения – он поворачивал уставшие стопы вспять и, ступая по вершинам падавших на дорогу сутулыми тенями деревьев, доходил до истребляющего его ночное одиночество флота стезею небрежной развалки. Там он готовил себе небольшой обед – обычно ограничивавшийся яичницей и четным количеством ломтиков так любимой Мариной перво-классной ветчины – попутно прислушиваясь к диким крикам вечно чем-то недовольных доминошников. Они от зари и до зари оккупировали стол под ее гостеприимно открытыми окнами – настезь распахнутыми не для жулья или демонов: для проникновения любопытных облаков – и, когда их совокупное жужжание рассекали харизматические вопли: «На куски тебя порву! Что-то слишком горяч, как я погляжу! Ну все, Чукулин, выпросил ты у моря херовой погоды – потопит оно твой надувной матрац! ААААА...! На инвалида, сука, руку поднял?!» – у Корнилова появлялось впечатление, будто бы он находится под покровом пряного зноя Нового Орлеана. В одном из многочисленных *Honky Tonk`s* – темень, любовь, нищета; Корнилов держит на коленях податливую мулатку почти без всего и божественный альтовый сакс в строго отведенном ему месте разрывает безумное единение бесподобно сыгранного бэнда. В эти боготворимые для него секунды он предлагал себе чего-нибудь выпить: «Не желаете ли маленькую, месье?»

«Спасибо, Жан, но мне лучше большую».

Корнилов открывал холодильник, выскребывал кусочки прозрачного льда и заливал их жестковатым, но очень приятным на вкус ирландским виски. *Irish*, вода жизни – считая его напитком своей судьбы, Марина безнадежно заиклилась на нем, прочитав наискосок что-то из Йейтса. В оригинале.

Кстати, о Марине – с каждой неделей образ жизни Корнилова ее все больше и больше не то, чтобы угнетал, но едва наметившейся гармонией их уже не обдавало: сначала тонко, полунанеками, а затем и гораздо откровеннее она талдычила Корнилову о его якобы добровольном понимании того, что ему не мешало бы поискать работу – мол, и в материальном

плане им будет полегче, и вообще. На первое место она громоздила заботу о его собственном благе – почувствуешь себя человеком, встанешь с колен, ну и et cetera.

Раньше, уходя на работу, она его не будила – оставит на столе завтрак и уйдет. Не могла же она сказать: «Я сюда не вернусь. Потому что не уйду» – Корнилов бы без ее денег с голода не загнулся, но она же живет не только с ним, себя же ей тоже кормить надо. «Корми себя, женщина. Обо мне не думай. Не опасайся того, что счастье придет в дом, но дома никого нет, ни меня, ни тебя: поваленные стулья, сорванные шторы, засохшие цветы» – в последнее время она взяла за привычку следующее: перед самым выходом из дома Марина подходила к дремавшему Корнилову и говорила ему прямо в ухо:

– Дорогой, я пошла. Чем думаешь сегодня заниматься?

В первые дни Корнилов глупо отшучивался, варьируя ответы от «На Эверест пойду. Хватит уже по пятитысячникам ползать, надоело» до «Я вчера с ногами разругался – так, что пусть теперь сами определяют чего им хочется, а то собака лает, караван идет, но там, куда он идет, ни одна собака ни дня не протянет». Сегодня он впервые ответил злобно – сетуя и сожалея, что еще в зародыше не пресек этот обременительный ритуал.

– А я уже занимаюсь, – сказал Корнилов.

Недоуменно попятившись, Марина заполонила свое лицо складками а-ля шифер. Не Клаудиа – тем, что крыши кроют.

– Чем это ты занимаешься? – спросила она. – Чем, Корнилов? Поделись, я послушаю.

– Поведав тебе о столь сокровенном, мне придется тебя известить. Лишить нынешнего симпатичного облика – умертвить специальными сексуальными методиками, расчленив на мелкие части, потом обсосать все косточки до единой, а документы и одежду сжечь вместе с домом. Но мы ведь в этом доме не одни живем, правильно? – Корнилов несколько раз назидательно покачал указательным пальцем. – Ты не думай, колебаться в таких делах не мой конек, не мое осознание тлена, но есть одно «но» – и этим «но» является собачка с седьмого этажа. Ну, ты ее знаешь – такая смешная, лохматая, Дундиком зовут. Вот ее мне жалко – она мне нравится тем, что никогда не лает: ни на караваны, ни на своего хозяина-идиота. Представляешь, я однажды видел, как он обливается холодной водой. Все бы ничего, но он обливался ей в лифте.

Мрачновато улыбнувшись, Марина молча вышла из комнаты. Ее голос раздался уже из коридора.

– Я сегодня приду пораньше, – сказала она. – На дачу поедem. Сходи на рынок и купи там чего-нибудь. Мяса купи.

Сходи на рынок, не выпуская из рук мавританские четки, научи танцевать шейк белого медведя: неужели так трудно, возвращаясь с работы, выкроить какой-то час и купить все необходимое? Но нет: ей двадцать два, мне двадцать три, всего год разницы, но я этот год пролежал не на Поклонной горе – в марлевой повязке и сифилитичной печали – да и в предыдущие не бегал по Садовому кольцу или Тверскому бульвару от женщин с родимыми пятнами на глазах. А Марина-то ленивая... Корнилов задумчиво закурил и нарвался на поучающее нытье кого-то изнутри – на некую скрытую в нем силу, с давних пор претендующую называться внутренним голосом.

– Предупреждал я вас, барин, примеры из истории подбрасывал... Теперь-то убедились?

– В чем?

– В сучьей мимолетности всего хорошего.

– Я в этом никогда и не разубеждался.

– Да будет вам, барин, на себя наговаривать. Не разубеждался он... А кто еще неделю назад и думать не думал отсюда выбираться?

– Ты меня дебилом-то неставляй. И неделю назад думал, и две.

– И до чего додумались?

– Наверно, пора нам – сколько котенка не корми, овчарка из него не вырастет.

– Вот это, барин, по-нашему!

– Заткнись.

Заткнув кого-то претендовавшего называться внутренним голосом, Корнилов страстно отключился от реальности. Спал он всегда со сновидениями – один ли, под удовлетворенное сопение робкой женщины, но со сновидениями. С непростыми.

Впереди Корнилова темно. Ни проблеска, ни отдушины, потому что позади него шипит огромное существо, и от этого урода образуется вместительная тень. Где находится Корнилов. Пребывает телом: духом Корнилов относительно далеко. Оболочкой ближе. Не на льду – лежу, чешу подбородок; накатывается хоккеист, разрывает на груди флуфайку «Крыльев Советов», машет клюшкой, блестит коньками. «По-моему, барин, вы уже упустили шанс стать семейным человеком» – «От меня до луны ближе чем до создания семьи».

Это существо бесконечно гладит его по голове – не ясно чем. Наверное, не взглядом, вероятнее всего этот кто-то гладит Корнилова раскаленной подушечкой большого пальца: волосы у Корнилова пока не дымятся, но в голове у него не прохладно, к тому же его спрашивают – не риторически, подразумевая получение концентрированного ответа:

– Как думаешь, кто я?

У Корнилова, конечно, есть время подумать, но думать о том, кто же все-таки поглаживает его по голове раскаленной (sic!) подушечкой большого пальца Корнилова ничем не привлекает: у него и о другом подумать...

– Кто я?

– А кто он? – в свою очередь поинтересовался Корнилов. – Кто та гремучая змея, просившая Адама не наступать ей на хвост кованым сапогом... Назовись – может быть, я и поверю.

– Но если я назовусь Богом, ты мне вряд ли поверишь. Или как-нибудь поверишь? много-то мне и не надо?

– Я поверю, – сказал Корнилов, – а потом вдруг окажется, что не поверил. Нет, не стану я тебе верить – мороки больше.

– Резонно мыслишь, Корнилов – не Бог я, тут ты мне справедливо не поверил. Ангел всего лишь.

Голова у Корнилова уже основательно перегрета, но это не служит ему помехой распознать в его признании нечто не соответствующее – Корнилов не очень соображает, однако на совместное ликование по поводу его оптически неподтвержденного статуса осмысленно не идет; «вырвусь – уеду в деревню. Буду с утра до вечера сидеть в панаме. У бочки с разливным» – не восхищается, не опережает событий, и оборачиваться ему ни к чему: его ли дело, кто в полноте движений прохаживается по его голове пальцем? факелом? паяльником? впрочем дело-то здесь для него не совсем постороннее, но Корнилов не обделен сложностью сердца, он человек нетрадиционной мыслительной ориентации – это существо ему на погибель не тронет само себя...

– В то, что я ангел, ты хотя бы веришь?

– Верю, не верю – смолчать, да сумею, но взять ли вам в плен мой отрезанный член: он вам не сдается, ко мне он вернется. А надо?

– Молчать не надо, а верить, как знаешь – ты же Корнилов о чем только ни знаешь, почему бы тебе и еще не узнать – уразуметь, что я сейчас с тобой сделаю, а сделаю я с тобой...

– Ничего не треснет?

– Если только у тебя, Корнилов – я же доставлю себе удовольствие печальной мелодией, озвучу окружающее тебя пространство органичным треском твоих человеческих костей. С духом же твоим... С духом твоим придется, разумеется, повозиться, но у меня и тут кое-какие...

«Марина, защитница, явись мне скорее, присоединись к сволочи – трясги губой, подходи с перекошенным взором, бей меня табуреткой: она не рассыплется, не сломается» – Корнилов почти сразу же догадался, что это существо не Бог, и не ангел: демон. Обыкновенный кичащийся демон – с демонами Корнилов себя не сдерживает, вот и с сегодняшним, неусладно поглаживающим его по голове, он поступил не примирительно – ухватил его за этот самый большой палец и зашвырнул куда-то в даль.

Накрапывал зеленый дождь, грохотали цементовозы, слышался смех рабов, демон терял в весе своей спеси; Корнилову могло показаться, что он, похоже, даже молился – Господь помнит все направленные к нему молитвы: ты давно забыл, а он помнит. Хмурится, вздыхает, страдает – тело у демона в полете еле-еле живое; Корнилов не соратник его состию, кому же не спится в моих снах, подумал он: Корнилов и во сне регулярно думает, о таком думает, что и каббалист возрыдает, и сражающиеся драконы отвлекутся – Корнилов же не из тех, кого душа душит: оставь ему достаточную щелку подышать чем-нибудь общественно признанным, все равно не выживет.

Ну, а демон упал во дворе Владимирской женской общины. «Смотрите, девочки, кого к нам принесло; ужасен, разбит, но взгляните... мужчина... ого... я первая...» – ему пришлось страшно себя не влюбить.

Когда Корнилов, предпринимая вылазку, испытывая стойкость, не посылая горьких проклятий, вышел из подъезда, он моментально определил, что утро установилось так себе. Отказавшись идти на неблизкий рынок, он размеренно отправился – шаг за шагом и не приведи Случайность Закономерности кого обогнать – в расположенный вдалеке от его терзаний универмаг. Принявший его лишь приклеенной к стеклу табличкой «С двух до трех – технический перерыв». Корнилов бы на их месте дописал «и возрадуйтесь вашими полыми душами, что не до четырех», но он не их месте: посмотрев по сторонам в поисках часов, Корнилов их нигде не увидел, и ему пришлось одернуть куда-то нетерпеливо торопящегося – не подгоняя впереди себя стадо бегемотов, под уже закатанными парусами выдыхающейся юности – подростка.

– Время не объясните? – спросил Корнилов.

Подросток вздрогнул, он в спешке помыслил: «Не отмечается ли сегодня день серийного убийцы?» и засомневался в правомерности своей дрожи – резко оттолкнув лестницу, уводящую сердце его разума на скользкие кручи пока непонятного, он негромко выдавил:

– Пол-третьего.

Оказывается, уже совсем не утро. Проникаясь смрадом известия, Корнилов поверхностно задумался, что же выгоднее: простоять полчаса в ожидании открытия или затратить те же тридцать минут на быстрый шаг в сторону рынка. Простоять ему показалось приятнее, и Корнилов присел на узкий край тесно заполненной скамейки. Не последняя из его прежних женщин мазала губы медом – приманивая пчел: ей хотелось, чтобы от их укусов ее губы стали менее тонкими – его шалаш когда-нибудь заметят в долине Катманду, его временные соседи смотрятся людьми не заурядными: один старик в соломенной шляпе стоил множества здравомыслящих. Семен Николаевич Туслов – прошедший войну, сохранив свою жизнь и не взяв ничьей чужой; он мерз в блиндажах, потел в штыковых, брал Рейхстаг, и по возвращению в Москву испытал немалое потрясение: на Киевском вокзале страшину Туслова подхватила восторженная толпа и начала его качать – пока они выражали ему вполне заслуженное им уважение, из его карманов с концами выпали все деньги и документы: даже медаль «За отвагу» с гимнастерки слетела.

Играя с самим собой в шахматы, старик то и дело раздавал едкие указания носившейся рядом с ним детворе.

– Эй, ты! – кричал Семен Туслов. – Ну ты, в синих штанах. Подойди ко мне.

– Это вы мне, дедушка? – спросил мальчишка.

– Ну какой я тебе – именно тебе дедушка?! – Старик даже разогнулся от возмущения. – Как эта ваша игра называется?

– Да никак. А вы попробовать хотите?

– Я тебе дам, попробовать... Я вот сейчас позову легавых, и они тебе объяснят как надо с пожилыми людьми разговаривать.

Парень вдумчиво почесал полупрозрачную щеку.

– А как вы их собираетесь звать? Криком или по мобильному?

Старик уже вставал, чтобы действовать, но тут к мальчишке подбежал его напарник по игре.

– Что случилось, Тем? – еще не отдышавшись, спросил он.

– Да так, ничего.

– А этому старому хмырю что нужно? Пальцем в глаз или ферзем по темени?

– Ладно, пошли. – Прощаясь, он поклонился Семену Николаевичу в пояс. – Всего вам хорошего. Для старика вы очень достойный человек, приятно было пообщаться.

Верно ли, неверно, но:

Отнимите у ребенка
В Вечный град его отмычку.
Не хотите? И не надо
Объявляйте перекличку...
Первый – есть!
Второй – я тут!
Ну, а где наш третий шут?
«Тоже здесь, куда мне деться
Все, кто мог, давно ушли...
Мне же вновь придется в сердце
Умножать на Свет нули»

Чем у них закончилось это выяснение – стояние на своем – Корнилов так и не узнал: всколыхнувшиеся открытием двери универмага поманили его войти. Пусть и не лично его, а весь толкавшийся на ближних подступах когал. «Вы народ, я тоже. Но я с этим борюсь. Чего и вам желаю» – переждав искрящуюся взаимными расталкиваниями трясину-толчею, он вошел: ничего, и что уже следствие, никого, не замочив. Ведь как вопрошали обстирывающие время духовники Иссавей и Дубилан: «Замочить жизнь в смерти нетрудно, но высушишь ли?».

Купив мяса – из не самого великого выбора телятины он все-таки сумел кое-что выудить – сыра с большими дырками и пару сухого, Корнилов пошел к выходу, где его бесцеремонно отвлекла опрятная женщина с длинной и причудливо скрученной седой косой.

– Как вас зовут? – спросила она.

– Стиви Рэй Воном. А вас?

– Нет, я серьезно. Мне кажется я где-то вас видела... Вспомнила! Вы же Корнилов, да?

– Без комментариев.

– Точно, это вы... Вы меня не узнаете? Неужели я так изменилась... Вы в какой школе учились?

Учились мы, учились, а учились ли? А если все-таки учились, то тому ли? Ну, а коли тому, то и удавиться не отступление.

– Во вспомогательной, – сказал Корнилов.

– Все шутите... А я между прочим вела у вас русский и литературу, и я вас прекрасно помню – вы были самым красивым мальчиком в своем классе... я не забыла... но как у нас

говорили, вы еще задолго до окончания школы перестали быть мальчиком. Вы меня совсем не помните? Меня Ниной Вячеславовной зовут.

Да помнит он ее, как забудешь: на каком-то уроке она еще упоминала «Золотую легенду» Джакомо де-Вораджине. Тем и запомнилась.

– Это вам, – сказал Корнилов. – До свидания.

Подарив учительнице бутылку сухого – пей женщина, принимай за девушку дивной красоты, поскольку я ее покидаю, не обманывая о жарких встречах в грядущем – Корнилов наконец-то выбрался из магазина, и первое, что он услышал вне заставленных пантеоном товаров стен, было:

– Молодой человек, извините, но вам на спину голубь нагадил. Уже почти засохло. Помочь вам вытереть?

Что же... Корнилов впервые за весь день улыбнулся.

– Да нет, спасибо, – все еще улыбаясь, сказал он. – Мне свою удачу терпеть.

Марина действительно вернулась пораньше, и для Корнилова это стало обременительным сигналом, зевая, идти в гараж – он занимал место в двух шагах от дома, но и их за тебя никто не пройдет; сейчас же и мелочи приводят к душевным травмам, и жить не модно – ископаемая «семерка», охраняемая им под радением водонепроницаемого присмотра, еще не выбилась из строя приблизительно едущих; да, Принципиальный Лис, да, малек-длиннокрыл, рванули, понеслись, незыблемость пессимизма, застылость нрава, борец с собственной подлостью; мученически преодолев строптивость зажигания, Корнилов подобрал Марину – она уже шла ему на встречу, без малейшего кокетства перекинув через плечо объемную спортивную сумку – и поездка потекла. Но не болтливо: Корнилов утомился хозяйством, Марина утомилась Корниловым, и чтобы разрядить атмосферу – подчиняться обоюдной апатии представлялось ему весомей, если под музыку – Корнилов поставил кассету с Савойской сессией Чарли Мингуса. «Давай... играй... прокалывай мой мозжечковый нарыв» – не говоря ни слова, Марина сменила удивительную кассету не идентично такой же. Быстро всунув в магнитофон неудобоваримую солянку из поздних вещей Сачмо – она сделала это, прекрасно зная, что Корнилов не переваривает Армстронга. «Разница характеров, накопление ее критической массы; вистуй, девочка, подавливай; мы не станем заезжать в цветочные ряды» – слушая папашу Луи, этого щекастого короля для домохозяек, Корнилов неукоснительно прозревал; Марина, безразличной львицей среди склизов, доставала из спрятанного в сумке ридикюля круглое зеркальце – имевшее весьма отдаленное сходство с тем маленьким зеркалом, которое было встроено в висящий у него дома штурвал – отыскав там же короткий карандаш, она стала кружить им вокруг своих и без того красивых глаз.

Корнилов, как и подобает заинтересованному в ее внешнем виде сожителю – уже созревшему приставить «экс» – ее предостерег:

– Осторожно. Дорога неровная.

– Разберусь и без...

И в эту самую секунду – то ли кочка, то ли окаменевший трупик какого-то зверька... Страшный визг Марины... Понять ее не сложно – ее левый глаз, буквально, захлебывался кровью. Но, словно бы уравнивая случившееся, движение утратило немилосердную интенсивность, и уже через десять минут они смешались с неплотным потоком «скорох», с самоуважительной расстановкой въезжавших в ворота весьма сомнительной больницы.

На следующий день Корнилов зашел ее проведать – наведя справки, он нашел индивидуально отвечающего за ее излечение врача, увел его из оживленного больными коридора: в закуток, где хранят разный инвентарь, наподобие швабр – и, не усложняя ситуацию широтой эвфемистических жестов, доходчиво выспросил насчет Марины.

Лгать, а тем более уличаться во лжи доктору не требовалось.

– Никаких оснований для беспокойства, – сказал врач, – с ее глазом все будет нормально. Вас подробности интересуют?

– Нет. А когда ее можно будет увидеть?

Жалких шуток: «Вы-то ее в оба глаза увидите, а она вас всего в один, да и то до потемнения заплаканный», «Войдете в палату – подавайте голос. А то она вас и не узнает» от доктора, к его телесному счастью, не последовало.

– Да хоть сегодня, – сказал врач.

Интуиция что-то ропщет: с предшествующей Марине «Серой Дженни» Артюхиной Корнилову и то было легче определиться, кто же из них получает больше удовольствия, когда она кусает его за живот. Не он, отнюдь не он – а раз не он, то пусть кусает, но только за живот, не ниже: живота у Корнилова нет, а то, что ниже, пока дышит.

– Во сколько? – спросил Корнилов.

– Посетители у нас с пяти, но вам, в виде исключения, я бы разрешил...

– Исключений я не стою. – Отпуская доктора с миром, Корнилов тем самым его уже отблагодарил. – Бывайте.

И промелькнуло, будто сон
Все то, что сном не оказалось —
Через скакалку прыгал слон
Но и на нем всю сказало
Паденье градуса сердец
Смотревших, как он топчет стружки
Не прозревая, кто тот спец
Кто автогеном резал ушки.
Слоновьи уши.

Но слону

Внезапно стало очень грустно
И он прошелся по тому
Кому пресечь слоновье чувство
Спокойно радовать детей
С каких-то явей захотелось
А дети требовали змей
Но змеям жить давно приелось
Они не вышли на манеж
И их винить слона ли дело
Он и без них не слишком свеж
В надежде вспомнить свое тело
До объявления весны
Его заставшей над скакалкой
Ему ли помнить, чьи тут сны
Он воплощает гнутой балкой —
Опорой липкого вчера
Не проходящего и завтра...
Ну, а слону его игра
Все добавляет в кровь азарта
И он старается успеть

Напрыгать ровно, сколько сможет
Но вяло шепчет: «Только смерть
Мне в этой жизни и поможет».

С Мариной Корнилов так и не свиделся – ну что бы он ей сказал, состоишь их conversation? Крепись, а я уйду? Пустое...

Подгоняя решение, высветившееся на блеклом мониторе его устоев в направлении правильного, Корнилов неумолимо шагал к ней домой забирать свои вещи. Но дойдя, передумал. Пусть все останется ей. Как память, что ли... У Марины хватало заслуг, чтобы удостоиться щедрости его отношения, и распоряжаться им по усмотрению ее потребностей. Да и вещи – то малоценные – потертая износом ветровка, бритвенный станок, красный двухтомник с партиями Бобби Фишера...

Корнилов бросил ключ в газетный ящик и, проверив в тот ли – тот, тот, все четко – проворно выбрался под небо.

Погулять.

Подумать.

2

Как-то вечером, не пылая, а лишь коптя страстью к общению, Корнилов зашел в гости к своему институтскому знакомому – следует отметить, что его туда пригласили. Пригласивший его Николай Воляев был человеком спортивного склада ума, и когда Корнилов снизошел до своего ничего не знаменующего пришествия, он, буйно подрагивая от восхищения, смотрел видеозапись боев с участием Майка Тайсона, что представляло для него совершенно обычную методику по травле тревожившего его состоятельность времени.

Кроме Корнилова, прозы гостевого приглашения удостоились две молодые женщины несколько неглубокой наружности, которые сидели на диване и о чем-то угрюмо молчали. Следуя законам нечасто восходившей в нем галантности, Корнилов к ним неплотно подсел.

– Я думаю, – сказал он, – что если мы озвучим наши имена, поганей нам от этого не станет. Меня зовут Корнилов.

Мягкость его тона пришлась молодым женщинам по нраву.

– Тамара.

– Клава.

– Волшебные имена, – усмехнулся Корнилов, – ничем не хуже, чем у мутивших воду еще до Ганнибала Гамилькара и Гасдрубала. И чем занимаются в нашей нелегкой жизни их носители?

Легкий, слабый, толчок, но как же они пошатнулись.

– Что? – спросила Тамара.

– Если это что-нибудь гнусное, – сказал Корнилов, – то только намекните, я понятливый – когда мне говорили: «Ты у меня первый», я всегда предоставлял ей возможность сначала передумать, а потом и уйти.

Пеняя себе за бедность предоставленных им по Завещанию генов, молодые женщины невнятно переглядывались, упрекая безвольной властью взглядов даже ни виноватую в их настроении гитару – она лежала на комодке вне чехла и была в такой степени перемотана изолентой, какая выпадает далеко не каждой ключке.

– Ты слышала, Тамара, что он несет? – запальчиво пробормотала Клавдия. – Похоже, слышала... – И уже Корнилову. – Тебе чего нужно?

Корнилов, может, и улыбнулся, но если и так, то не без язвительной грусти.

– Дело продвигается гораздо быстрее, чем я ожидал, – сказал Корнилов. – Мы уже перешли на сильные эмоции, но я все же не поручусь, что это именно мое сознание пошло неверным путем. – Корнилов привстал в полный рост. – Я сейчас на минуту отойду, а затем со всей прытью рвану обратно – вам приходится жить только здесь, но я не долго: попробуйте сдерживать слезы.

Подойдя к густо заставленному пустотами столу, Корнилов взял в руки бутылку вина и, приобняв ее с присущей ему сноровкой целителя, устремил вовнутрь свой спокойный взор. Чтобы определить качество напитка, ему было достаточно просто просмотреть вино на Свет – не обнаружив в этой смеси даже намека на ясные искры взаимодействия с божественным, Корнилов поставил бутылку на место прежней стоянки, зацепил вилкой утонченный до провисания кружок копченой колбасы, тихо вышел из обманувшей его отсутствующие ожидания комнаты: «До свидания, бывайте, всего наилучшего, ваша радость не была моей» – в прошлом феврале Корнилов пил темное пиво с издаваемым лишь у себя дома, в единичных экземплярах, при помощи струйного принтера писателем Семеном «Чоппером» Галинским – поддерживать разговор Корнилову было скучно, но он держался:

– Свобода-воровка, молодой человек, – говорил Галинским, – она повсюду, но ее нет нигде; неделями, месяцами я нахожусь в прискорбном состоянии ужасного подпития, а мою книгу... мое счастье... ее невозможно успешно экранизировать.

– У кинематографа для этого недостаточно возможностей? – спросил Корнилов.

– Для успешной экранизации моей книги возможностей у него действительно маловато.

– Но почему?

– Она из разряда семейного эпоса, она называется «Набежало, накапало» и она слишком плохая... Просто ужасная. Никакой Антониони не потянет...

Когда Корнилов выбрался в коридор, у него возник выбор: или уйти отсюда не попрощавшись, или уйти, поблагодарив Николая Воляева за небывалое гостеприимство. Никакого выбора у него, разумеется, не было, но надумав себе, что он есть, вы хотя бы не ставите себе в повинность безжалостно затыкать отдушину похищения вашего лелеемого сумрака хищными гарпиями иллюзий.

«О, летний день
О, ночь зимой
Не он сказал
Ему с собой
Об этом жалко говорить.
Но век прошел
И смех не сшить
Из расписанья облаков
Ушедших сытостью морить
Опять его...
Он льет вино
На слабый лик ее огня
И говорит:
«О Боже, я
Опять успел».

Решив воздать хозяину выстраданное им уважение, Корнилов направился в соседнюю комнату – лучшие в мире женщины никогда не признаются в своей тяге друг к другу; Вселен-

ная бесконечна и не одна; Николай Воляев спит в связанных ему дьяволом шерстяных носках – усевшись в обитое белой кожей кресло, он по-прежнему наблюдал за изначально предназначенным для театра «Кабуки» Майком Тайсоном. Присутствие Корнилова он заметил только в перерыве между раундами.

– Садись, Корнилов, – сказал Николай. – Садись и даже дыши про себя. Классный бой. Тебе понравится.

Корнилов сел и, что странно, бой действительно стал его понемногу захватывать – по крошке от песчинки. При ближайшем рассмотрении Тайсоном, как мстящим всем и за все воплощением былинной традиции, оказался невысокий негр с весьма крупной шеей и много чего поясняющим взглядом. Правда, бой, который Николай Воляев назвал классным, закончился неожиданно скоро: соперник Тайсона – негр с гораздо более основательным ростом – допустил черную перчатку к своей черной голове и видимо зря. «Это у него прическа или меховая шапка? Признает ли он истинность слов Оригена, сказавшего, что и звезды впадают в грех? Вечность безумна, под кленом резвятся психопаты, она все-таки вертится... она это женщина... подо мной, не подо мной, но она вертится» – под затихшим на полу высоким негром в следующие несколько недель простыни уже никто не помнет.

Николай Воляев был в восторге:

– Нет, ты видел?! Никуда не отходил?! Я этот бой уже раз в десятый смотрю и меня все так же вставляет!

Кубок с отравой за удовольствие твое подниму, доспехи тела моего для впуска яда задержу – лишь бы тебя от счастья перекашивать не переставало.

– А Тайсон во всех десяти разгах победил? – спросил Корнилов. – Высокому ни разу ни подфартило?

– Очень смешно, Корнилов, очень. Да, братец, до охренения... А если без шуток, тебе понравилось?

– Довольно занимательно.

Испытываяще посмотрев на Корнилова, Николай Воляев заговорил с гнусавым придыханием, словно бы пытаясь пополнить его чем-то воистину сокровенным:

– Слушай, а ты сам не хотел бы заняться боксом? В нашем институте ты первый специалист по бабам и, как ты сам говоришь, холодной водке под теплой луной, но у нас в институте еще и боксерская секция есть. Я туда уже три года хожу: тренер у нас ну просто отпадный дядька, настоящий профи – как что-нибудь объяснит, покажет, так и не поймешь в здравом ли он уме. Ну, что скажешь?

– Бокс – это наслаждение для избранных.

– ...?

– Но вообще-то свободного времени у меня навалом.

– Все, Корнилов, заматано! Тренировка у нас как раз завтра – не сомневайся, ты мужик крепкий, тебя на ней до смерти не забудут. Придешь?

Встав у защищающего крепость и широкого глубинами рва, можно попробовать преодолеть его с помощью верности дорожного посоха, или перекинуть на манер моста – сам мост поднят и, несмотря на призрачность исходящей от тебя угрозы, ни за что не опустится – или разбежаться и рискнуть использовать его в качестве фибerglassового шеста. Но и тут, и там ты только решительно подавишь произрастающие на дне колючки. Захлебываясь в грязевом потоке собственных матерных слов. Выгодно отличаясь лишь от детоубийц.

– Придешь? – настаивая на получении ответа, спросил Воляев.

– Как Господь к своему обелиску: с дорогим венком и весь в бинтах.

– Не вздумай, Корнилов, меня разубеждать – я это понял в том смысле, что ты согласен. А сейчас пойдем к цыпам. Они нас, наверно, уже заждались.

Нет, Воляев – это исключается и без вовлечения цепных псов нарочито клыкастого обсуждения.

– К цыпам я не пойду, – сказал Корнилов, – если завтра бокс, я лучше домой и хорошенько отосплюсь.

В маленьких зрачках Николая Воляева патетично полыхнули рифленные изумруды одобрения.

– Правильно, – сказал Николай. – Режим, брат Корнилов, в спорте главное – если плохо выступишься, то уже ничего не поделать: в больнице досыпать будешь. Ну, тогда до завтра?

– До завтра. С цыпами поосторожней.

– А что? – нахмурился Воляев.

– Тщетные они какие-то.

Николай Воляев беззаботно рассмеялся:

– Брось Корнилов – нормальные цыпы. А Тамара, ну просто, цветочек... Ну все, давай. – Пожимая Корнилову руку, он сделал это с нездоровым энтузиазмом. – Не забудь, ровно в шесть.

Проснувшись, Корнилов мгновенно ощутил каждой клеточкой своего не напрасно молодого тела на редкость бесцеремонное похмелье; когда он мутно и медленно огляделся по сторонам, в нем заструилось тяжелое подозрение, что проснулся он явно не дома – к примеру, прибить над кроватью ветхий гобелен, имеющий на себе то ли охоту, то ли рыбалку, Корнилов, как человек с ревнивым к дешевым изыскам вкусом, никогда бы не отважился: «я тут... один... вопреки воле моего хранителя – меня не спугнуть петардой, не запугать фугасом, не остановить уверениями, что меня постигнет судьба обыкновенной вши...».

«Праздно думать о высоком!»
Крикнул батюшка монтеру.
Тот плеснул по старцу током
Пресекая в корне ссору
А бедовые пингвины
Топчут ледышку в Заполярье
И над ними херувимы
Дарят смогу равноправье
Улыбаясь и шикая
Жарят донорам монеты
На которых Корсиканец
Ищет повода вендетты
У дороги, где накрыли
Шаткий стол босому магу
Прооравшему: «Сгубили,
Заклучив меня же в сагу
О моей первой роли
В суетливой пантомиме.
Ну, зачем сказал пароли
Я крещеному козлине?»

Чужаки исчезают, спиваются, благодарят; фотографии на стенах вызывают малую степень узнаваемости – неуверенно, изобилуя покачиваниями и быстро выправляемыми сменами курса, дошагав до ванной, Корнилов прямой наводкой уставился в зеркало: небритость плавно ложилась на помятость, да и интеллекта в глазах за ночь не приросло.

Корнилов умылся и, построив несколько экстремальных рож – снимая стресс унижающей разум мимикой – пошел на кухню, где на столе между кетчупом и грязным ножом валялась записка, состоявшая из трех кривонаписанных строк. «Все было замечательно. Ты просто лапочка. Не забывай свою Танюшку. P.S. Когда будешь уходить пожалуйста захлопни дверь».

Танюшка. Какая-токая Танюшка. Что за идиотские шутки?... А-а... Нежданно негаданно вихрь воспоминаний – причем, их нежданность размахивала над ним весомой дубиной своей негаданности: предметом, часто утыканным жуткими штырями и разрывающей спертый воздух его сознания нежными дуновениями аммиачного пара, сочившегося из нее даже при малом взмахе – наотмашь придавил Корнилова к стулу. Воспоминания имели следующее содержание – по дороге домой Корнилов зашел в бар. Так, для проформы: прополоскать горло кружкой светлого. Но кружке не захотелось оставаться в одиночестве, и процесс немного затянулся. И тут в памяти всплыло миловидное накрашенное лицо, по-видимому принадлежащее женщине, и вероятнее всего этой самой Танюшке. Силуэты лица были не слишком конкретные: размытость, пятнистость, кривизна – Корнилов додумался поискать эту физиономию на замеченных им в комнате фотографиях, и поиски завершились очевидным успехом: так вот ты какая Танюшка, очень даже ничего. Танюшка разгуливала по фото в школьной форме, но Корнилов почти не сомневался, что к моменту их вчерашней встречи она подросла. Внезапно его взгляд стойчески спрыгнул вниз и наткнулся на три пустые бутылки, одна из которых когда-то содержала в себе водку, ну а две оставшиеся... Корнилова передернуло. И подумал он, каясь – это же бутылки из-под портвейна.

– Да, барин, что-то вам здесь окончательно разонравилось – уже и портвейном травитесь. Среди портвейнов, понятное дело, попадаются и роскошные, но для вашего едва ли кто-нибудь собирал виноград на берегах реки Дуэро.

– Ручаюсь, что не там. Жестокостью утреннего осадка ручаюсь. А я его вчера много выпил, этого портвейна?

– Одну из двух уж как-нибудь, да уговорили, никак не меньше.

– Наступите мне на боль... вышибите ее клином... приведите меня в соответствие с классическим духом...

– Это вы бормочете о срочной нуждаемости в опохмелении?

– Не буду я сегодня опохмеляться. Накажу себя пыткой удержания.

«Выдержу, не сломаюсь, пережду покупать в храме специальный набор для погребения» – его очная ставка с самим собой была неучтиво прервана новым камнепадом воспоминаний, и они были жестче предыдущих: во-первых, Корнилов вспомнил о чем же он Танюшке... зверюшке... мышане... увлеченно рассказывал – вещал он ей о походе аргонавтов и о том казусе, когда их союзники долионы, не разобравшись в темноте кто, да зачем, спровоцировали не замеченных в слабости порубиться героев на покрытую нерелексивным мраком схватку, по ходу которой Язон сослепу убил их царя. Еще он пытался поведать ей суть задумки молодого инженера Рудольфо Дизеля, но, потерявшись в объединении целостностью плохо поддававшихся его вчерашней голове компонентов – поршней, сжатий и одноцилиндровых двигателей – нескладно осекся. Но по сравнению с тучей номер пять; с поднятием пыли номер четыре; с воспоминанием номер три, все это казалось сущей безделицей, поскольку как раз оно и воплощало в себе весь возможный кошмар. И память, как назло, сработала тут безупречно – невзирая на все его попытки отогнать навязываемый ему уже свершившейся биографией бред, Корнилов явственно осознал, что весь этот кутеж был оплачен им. Даже принимая во внимание все смягчающие обстоятельства – мол, не обвиняй меня, гондон, в объективности – память совершила очень подлый поступок, и Корнилову пришлось применить все свое недюжинное мужество, чтобы одеться и слегка равномерно добраться до выхода; добраться, чтобы убраться: его злость находилась на таком пике, что он даже приговорил оставить дверь

открытой. Но после бессистемной борьбы – лязг ментальных сабель, скорее всего, слышали и на улице – воспитание все же взяло верх. Дверь он захлопнул.

Придя домой – сосредоточенно, как канатоходец, которого страхует лишь бурлящее неопишуемой заботой озеро лавы – Корнилов с нажимом вычистил зубы и, напрягая вороватую совестливость последних из пока не отказавших ему в сотрудничестве рефлексов, замедленно изыскал нетвердые контуры кровати. Затем он лег. Чтобы спать и не задерживаться при дворе – состояния духа, снова духа, мглистого состояния, вылупившего его их скорлупы хотя бы скудного удовольствия происходящим. «Уйди, Танюшка, отстань, не заставляй меня целовать твоего вонючего кота, он хороший, прекрасный – ты, Корнилов, не такой, звери могут смотреть прямо на солнце, человек нет, звери тоже не могут, человек однообразен, звери разнообразны, какие-нибудь из них могут, я убежден» – когда сон уже приступил к сдавливанию его в своих не оставляющих отпечатков объятиях, раздался телефонный звонок. Если бы для поднятия трубки требовалось совершить хотя бы один шаг, Корнилов бы его не совершил. Но так как трубка висела прямо над кроватью, Корнилова потянуло – но только рукой – ответить.

Звонившим оказался Николай Воляев.

– Здорово Корнилов! – сказал Николай. – Как самочувствие?

– Волшебно...

– Не забыл?

«О дайте, дайте мне отставку!» – кричал побледневший полковник, услышав что пленных будут казнить начиная со старших чинов. И в эту секунду он видит, что его генерал уже попрощался с большей частью лобной кости...

– О чем не забыл? – спросил Корнилов.

– Ну, про тренировку.

– Какую тренировку?

– Ни хрена себе, какую тренировку! – возмутился Воляев. – Ты что, Корнилов, мы же вчера договорились.

Какой-то Марсель, где маркиз Де Сад договорился с бедствующими проститутками, что они избыют его разгоряченную плоть неоднократно испытанным хлыстом с гвоздями во плети. «Ко мне, деточки, скорее ко мне... все готово... ко мне...» – приехав на место, шлюхи пошли на попятную: не хотим, сказали они, отправлять тебя на тот свет за твои же деньги.

Еле на ивовой метле сошлись.

– Ничего себе... – невнятно пробормотал Корнилов. – И о чем мы договорились?

– Слушай, Корнилов, не дури! Мы вчера договорились, что ты сегодня ровно в шесть ноль-ноль придеешь на тренировку.

– А что я буду там делать?

– Как это что?! Боксировать.

Вволю они меня... туда... того, а насытиться все не могут: красть уже нечего, но процесс моей опеки нарастающими проблемами их по-прежнему занимает.

– Ах, боксировать... – негромко протянул Корнилов. – А может, я лучше в следующий раз?

– Никаких следующих разов, Корнилов, ты обещал! Ты держишь свои обещания?

Куда уже крепче (держать) – даже на побегушках за ними бегаю. Но если у Бога есть своя администрация, то кто же ее возглавляет? кто будет снимать заключительного «Крестного отца», когда Пачино восстанет из ада и, прочитав там данные Францом Гильомом Гизо жизнеописания четырех великих французских христиан, подвигнет заждавшуюся его конницу на героический конкур по разрастающимся головам выглядывающих из пент-хаусов сатанистов?...

– Иногда держу.

– Ладно, – сказал Воляев, – хватит бабочку лохматить. В последний раз спрашиваю, при-
дешь?

– Для меня это важнее многого.

– Вот и здорово. А то, если бы ты не пришел, я бы решил, что ты струсил – тебе на мое
решение, конечно же, насрать, но для меня оно кое-что значит. Ты, вообще, в порядке?

Спроси меня, месяц щербатый; спроси меня о ком-нибудь, ущербно заполовинившем нас
обоих – уточни у меня самого причину его ко мне немилости.

– В полнейшем, – ответил Корнилов.

– Ну тогда все, увидимся.

Положив трубку на ее привычное место, Корнилов закрыл глаза – впрочем, они бы закры-
лись и без его ведома – и вскоре созидательно задремал.

*Просторная площадь заполнена галдящими людскими массами; стрелки суток переве-
дены в положение «полдень»; грандиозный дворец... нет дворца... зыбко и солнечно; every kind
of time spinning on my mind, еще одна несчастная любовь меня добьет: «Вы женщина?»*

«Ну, и что?»

*«Этого мало, чтобы быть моей женщиной» – будучи приподнятым кем-то на угото-
ванное ему возвышение, Корнилов не может пошевелить ни рукой, ни ногой, ни чем-нибудь
между ними. Головой пошевелить он может. Потому что лишь она. Чего? Что ты сказал?
Лишь она высовывается из метрового слоя воска, или чего-то очень похожего, обмотанного
вокруг его жалобно затекшего тела по пока им неизведанному обстоятельству. Изведать
его не у кого – если только у суетящегося пред угрюмым челом Корнилова по-вражески шуст-
рого человека: на нем шапочка в форме нимба и испещренная какими-то формулами мантия –
не провисает, ходит ходуном от сердечного гула.*

– И что тут происходит? – спросил у него Корнилов. – Как я полагаю, некий криминал?

*– Праздник великий! – гнусавым фальцетом пояснил Игнасио Бромка. – Мы на воск для
этой свечи собирали всем честным миром, а твой вклад в нашу светлую радость послужить
для нее фитилем!*

*Корнилов всепрощающе хмыкнул. От такого ответа у него разом накопилось множе-
ство вопросов: «В честь кого ставите?»; «Почему фитилем должен быть я, а не кто-нибудь
по-добровольней?»; «Не запалить ли мне себя от собственной сигареты?», но он их не задал.
Не изменил благородной посадки головы. Ему незачем цепляться языком за невесомую жер-
дочку – тем более, когда подпил за версту виден.*

*– Ты на нас не сердись, любезный? – вкрадчиво поинтересовался дон Игнасио. – Не дер-
жишь в подкорке суицида? Не сделаешь скандала из ничего?*

– ...

– Все путем?

– Гмм...

– Мы приступаем?

– Да делайте, что хотите.

*Толпа его не расслышала; Игнасио Бромка, наострив уши, все же сумел – не увидев
в выражении лица Корнилова никаких перемен, он польщенно затрепетал и чудотворно вытя-
нулся лопающейся за правое дело струной.*

– Чем нужно, ты уже пропитан! – прокричал он. – Будь спокоен, быстро не выгоришь!

*Помахав над головой широко разлетевшимися рукавами, он, не постукавшись, вошел
в транс:*

*– Во имя детей наших еще не родившихся, отцов и матерей наших уже померших – во имя
солнца, луны и инфузориш-валенка! – И толпе, с надрывом. – Поджигать?!*

– Поджигай! Поджига-аай! Поджигаааа-аааай!

– *Поджигаю!*

До институтского спорткомплекса пролегал удобный автобусный маршрут; Корнилов о нем знал, и своим знанием, как ему казалось, благоразумно воспользовался. И еще: полагая, что запас налипших на сегодня неприятностей живительно для него истощился, проезд он не оплатил; контролеры явились бы уже явным перебором – на руках и так двадцать два, а кое-кто, не Хаббард, не Набоков слезно выпрашивает еще одну карту – когда Корнилов увидел двух серьезно настроенных молодых людей, подбирающихся к нему со стороны задней площадки, он немного пожалел, что нигде поблизости нет какой-нибудь намоленной иконы. А то бы он позволил себе высказаться. Но не уподобляясь засомневавшемуся мачо Эдуардо Рубетти, кричавшему в небо: «Сделай так, чтобы все было хорошо!» – на небе Всевышний и запутавшийся в его бороде аэробусы; народ с них Эдуардо не слышит, Всевышний услышал и сказал: «Не пойму я тебя, сеньор – все же и так было хорошо. А вот будет ли, обещать не берусь»

Интригующее в нем по мелочам отчаяние подталкивало Корнилова сказать этим людям: «Баста, мужчины – я не ложусь в постель с четырехметровой птицей моа и еду на боксерскую тренировку. Если вы меня не поймете, я могу ее провести прямо в автобусе», но смиренно посоображав – двоим меня вряд ли завалить, но и народ, как всегда, не за меня горой встанет – Корнилов спохватился и тихо сошел.

Недоеденный путь он доехал ногами, упорно отгоняя назойливый голод. Есть перед тренировкой было вредно. Да и не на что.

Вплотную к ступенчатому входу в спорткомплекс его поджидал Николай Воляев, выглядевший на грани изготовившейся дать течь истерики.

– Ты где ходишь?! – проорал Николай.

– Да так, обстоятельства... Но моя работа пока еще не в том, чтобы быть мертвым: временами я бросаю свое тело на чье-то другое, бросаю наугад, но они редко возражают, а я...

И Николай Воляев перешагивает эту грань:

– К чертям твои объяснения – через пять минут начало! Мы уже почти опоздали! Давай скорей!

Давай и скорей... Будешь об этом умолять замешкавшуюся в предоставлении себя девушку – подбираясь своим истомившимся естеством к ее податливой гордости.

– Перекурю и пойдем, – сказал Корнилов, – а если у кого пыльная кожа, то это еще не признак его...

– Да ты что, Корнилов, некогда курить! Ты форму взял?

– Какую форму?

– Спортивную.

Корнилова откровенно не всполошило. Не пробрало. «Я слышала, упал самолет. Вот черт... В Уганде. А-ааа... Тогда ладно» – поведавшая ему о крушении женщина была без ума от делавшего сальто отечественного певца, «Темноликая русалка» Дивягина говорила Корнилову: «Я еще помню, как он выступал в шинели – я уже и тогда испытывала к нему глубокие чувства и если бы он пожал мне руку, я бы ее неделю не мыла. А ты?». Корнилов уважал ее чувства, но он ответил: «А я бы тут же побежал ее мыть: я бегаю крайне редко, но это же исключительный случай».

– Форму я не взял, – сказал Корнилов, – но кто-то делает зарядку возле церкви: он кланяется, но не Богу, а желая укрепить в себе свою гибкость...

– Ну, е-мое... Ладно, придумаем что-нибудь.

В раздевалке царила непринужденная духота и, сев на потертую банкетку, Корнилов выжидаяще – «В ожидании Николая Воляева» – закурил. Но едва он начал свою привычную

мистерию вдохов и выдохов, как перед ним появилась неопрятная старуха в черном, или просто грязном, халате.

Отборные войска бескомпромиссного такта, предотвращающего по меньшей мере выброс слюны, в старухе явно не квартировали.

– Ты что это творишь, – закричала она, – курить же строго запрещено! Ты кто такой?!

– Я, – ответил Корнилов, – светлячок на дне того мешка, в котором Господь бегал за демонами; я ветер в занавоженном поле, где отмежевываются...

– А занимаешься ты у кого?!

Громкая, остервенелая женщина. Хоть расцелуй ее, хоть запусти в незаурядный аттракцион по голосовой полировке камней.

– Смотря, чем занимаюсь, – ответил Корнилов.

– Чем бы ты не занимался в других местах, – проворчала старуха, – здесь тебе... не везде!

В этот кульминационный момент в раздевалку вбежал Николай Воляев. Не входивший в общину православных вегетарианцев. Во вторник варивший холодец. Варил и радовался – тому, что варит. Себе. Не дяде. Сразу же определив в чем же состояла проблема – дым же стоял, как и поставили – Николай незамедлительно бросился на защиту не просившего его о ней Корнилова:

– Простите его бабушка! Он не знал.

Чего же такого пробуждающего Корнилов не знал, Николай Воляев не объяснил, но его бойкое вмешательство старуху все же успокоило, и она, ненавистно бормоча нечто приземленное, отправилась к душевой. К слову – в мужских раздевалках постоянно барражирует множество подобных старушек, и если бы Корнилов был ознакомлен с данным положением дел, как с закономерностью, он бы об этом, возможно, задумался, а так он стал примерять принесенные Колюном вещи: «Бермуды» пришлись ему в пору, майка (в плечах) тут же пошла по швам, но вот с кедами, которым определенно не хватало размера другого, предстояло мириться.

Войдя в зал, они натолкнулись на одышливые потуги вершащейся во всех его углах разминки. В центре – внушительной колодой с уже воткнутом в нее топором палача – неумолимо торчал ринг. «Где вы же вы мои женщины... мне бы и одну... Марину – в туфлях, белых чулках, больше ничего. Знаешь что, милая? Тебе не хватает шляпки». Вылавливая в воздухе алкогольные пары, тренер махнул им рукой. Это, по-видимому, означало, что они могут подключаться, и они подключились.

Внутри жгло. Лотосы росли в тине. Зал был небольшим. Бег по проложенному в нем кругу дался Корнилову легко – покалывание в боку, резь в глазах и тому подобные сложности, конечно же, присутствовали, но где не без этого. А вот когда пошла отработка движений руками стало труднее. Особенно Корнилову – особенность выражалась в том, что шедший следом за ним короткостриженный лошак настойчиво бил его по спине, а иногда, наверное, желая расширить свой технический арсенал, плотно задевал и голову. Корнилов никогда не боготворил весь этот бокс, но сейчас он ему окончательно разонравился, и пронзительный свисток тренера – пузатого, не выше метра шестидесяти пяти, с достоверно, как и полагается, сломанным носом – смилостивился над печальным ковылянием его мыслей, оборвав их по-своему своевременно.

– Минута отдых, а потом спаррингуем. – Сказав, он окрылился и недоверчиво взглянул на Корнилова. – Эй новичок, тебя как зовут?

– Как меня зовут на самом деле, – ответил Корнилов, – знать вам ни к чему, лишь отбитую голову лишний раз напряжете. Зовите меня Тайсоном.

Тренер уязвленно набычился.

– А ты шутник... – сухо пробормотал он. – Спаринговать будешь?

Слово «спаринговать» чем-то напомнило Корнилову слово «спариваться»,

и он согласился. Увидев положительную интонацию его кивка, к тренеру угодливо подошел привлеченный флюидами близкой развязки Николай Воляев:

– Коуч, можно я с ним поспарингую?

Тренер оценивающе посмотрел сначала на Николая, а затем, как бы прощаясь, и на Корнилова.

– Да нет, Коля, – сказал наставник, – не потянешь ты с ним. В нем и веса килограммов девяносто, и взгляд слишком подозрительно отсутствующий.

Поводив перископом глаз по периметру зала, он нашел ими некоего двухметрового громилу, тягавшего вверх-вниз огромную штангу, поступательно прожигая здоровье изощренным методом его накопления.

– Вась! – крикнул тренер. – Поработаешь?

Вася молча положил штангу и, шипяще отдышавшись – Василий Личин приехал в столицу из Новокузнецка; и если тренеру сломали нос все же на ринге, то Василию его сломали дверью женской бани: четырнадцать лет ему было, когда он туда подглядывал, пытливый возраст – машинально занялся тщательным надеванием перчаток.

Осознавая в мельчайших деталях, зачем он это делает, тренер подскочил к Корнилову с изящным напутствием:

– Короче, Тайсон – Васина коронка левый хук, усек? Еще он очень активно работает по печени. – Воодушевляющее подмигнув, тренер показал на ринг гладко выбритым подбородком. – Ну, с Богом.

После боя Корнилову некрасиво хотелось – вернее, хотелось не ему, а темной стороне его деформированной частыми ударами души – отловить этого Васю и, не наводя на него порчи, чуточку отмудохать железным прутом: по простому, по рабоче-крестьянски.

У Корнилова болело все. Скулы, лоб, живот – окончательно его добил тренер, бросивший на удивление едкую ремарку: «Для начала неплохо. Ты, парень, бился, ничего не скажешь... Васе редко кто капу изо рта вышибает, а ты выбил – дважды за раунд. Станным, редким ударом... Когда ты врубил ему под сердце, я уже подумал, что мне не стоило делать на него ставку в городских соревнованиях. Ты же смотрелся совсем неплохо. Молодца. Но, разумеется, придется еще поработать». Да и Николай Воляев подыграл своему наставнику по полной: «Держись спорта, Корнилов – будешь за него держаться, он тебя тоже удержит на плаву: в следующий раз с кем-нибудь сцепишься послезавтра. Отведешь душу. Подтянешь самомнение».

Причесывая ботинками асфальт, Корнилов брел к остановке: справа по борту лежал киоск и, остановившись у его круглосуточно распаханной амбразуры, Корнилов почувствовал всем своим ни за что отбитым нутром, нестерпимое желание пива. Насколько он помнил, деньги у него оставались только на проезд, но, надеясь на чудо – не в его правилах, но не подыхать же, не попробовав – он устроил одежде углубленно детальный обыск, шмон, зачистку. И свершилось: мятой бумажки хватило как раз на одну бутылку, но ведь хватило же – при moistившись на низкую ограду и, достав выдавшую и лучшие его виды зажигалку, Корнилов одним движением отделил пробку от горлышка. Закурив, он стал нежно чередовать глотки и затяжки. Сочетание дыма и жидкости образовало внутри него успокаивающую реакцию: «Да! Нет! Да! Нет! Да пошел ты придурок! Сам, барин, и иди! вот такие беседы с самим собой. И со мной. Иди, иди. Не уйду» – закончив восстановительные процедуры, Корнилов стряхнул со штанов скупые залежи пепла и инстинктивно провел тыльной стороной ладони по кровоточащим губам. Он был бы не против насвистеть прекрасную мелодию, но свистеть он не умел. Во всяком случае мелодии. Зато он умел напевать, а его трактовка «Не плачь, паяц» удавалась ему вполне приближенно к первоисточнику. «Чтобы хорошо думать о женщине, надо о ней только думать. Ничего больше. Не видится, не встречается – я не изменю своего мнения, даже

если мне в ноздри ударит запах нашатыря. Нашатыря? Ой, я не могу... вы меня уморите... О нашатыре, барин, никто и не говорит. Такому слабому средству ни за что не привести вас в чувство» – всю обратную дорогу Корнилов флегматично затратил на разработку именно этого своего таланта.

Прохожие, конечно, шарахались.

3

– Еще одну кружку, пожалуйста.

– Есть что-нибудь будете?

– Не буду. Я бы что-нибудь съел, но я слегка опасаясь летально подавиться – не время сейчас для этого.

Девушка за стойкой улыбнулась, Корнилов тоже: он пребывал в неплохом расположении духа, когда даже чавканье поглощающего кулебяку уродца беспорядочно отдает Дебюсси в уникальном исполнении Микеланджели – посмотрев на специально надетые по этому поводу часы, Корнилов сделал большой глоток. Осталось пятнадцать минут. Через четверть часа он встретится с той, с которой очень бы хотел встретиться.

Встреча назначена в метро, и Корнилов ловил себя на мысли, гарпунил себя ее серостью, что, если встреча не состоится, он этому едва ли обрадуется. Его это ничем не напоминало, выздоравливать другой болезнью Корнилов обычно не зарился, но тут уже ничего не поделаешь – хотя с этой Олей Корнилов виделся лишь однажды, влияние она оказала существенное.

Между тем, от обстоятельств их знакомства сквозило примитивной заурядностью. Случилось так, что Корнилов зашел на ретроспективу немых фильмов – искушение наблюдать за многогранными излияниями Дрейера Ланга фон Мурнау его не одолевало, но на улице, словно шпалой, неучтиво колотило минусом, и из всех доступных способов согреться ретроспектива уверенно первенствовала, как в плане *bon ton*, так и в плане цены входного билета: «Мои плечи широки, моя совесть чиста – от меня с подбитым глазом ушла только одна женщина. Да и ту я ударил случайно – локтем. Во сне» – удобно рассевшись в кресле, Корнилов неприятно огляделся по сторонам. Ретроспектива вполне анестезировала его не до конца надорванные обморожением жилы: расстояния между рядами очень подходили для его длинных ног; золотистый крыс не свирепел и не наскакивал; девушка, сидевшая через одно место правее, выглядела, как живая – поначалу Корнилов решил оставить ее в печальном покое и полностью переключил рассеянное от ее присутствия внимание на допотопный экран, но фильм то и дело прерывался титрами, а читать в кино Корнилов не любил. Его нелюбовь проистекала из исполненной им как-то женской просьбы, заключавшейся в хрипло произнесенном в кино-театре «Орбите» возгласе: «Сейчас же прочти, что написано про тебя в моих глазах». Он прочитал и от прочитанного его не унесло в горние высоты самолюбования: многое он там о себе прочитал, немало гнуса.

Довершив разгон демонстрации Сгустков Памяти – объединившихся под патронажем ностальгии отбросов ее общества – трезвым алканием искры чего-то еще не раздуманного, Корнилов пересел к девушке вплотную: причину перемещения следовало как-нибудь объяснить – она же могла испугаться с его непривычки: с непривычки его не меньше – и Корнилов, не найдя ничего лучшего: искал он избирательно, не слишком сосредотачиваясь – мягко сказал красавице, что на предыдущем месте ему было плохо видно. Девушка оглядела его довольно удивленно, с легкой степенью подозрительности: причина, и в самом деле, была не трафаретного характера – в зале помимо них находилось всего два человека, сидевших совсем в другом углу и занимавшихся чем-то своим. Но первый же вопрос Корнилова ее основательно отвлек.

– Вы, наверное, знаете, – сказал Корнилов, – в чем разница между женщиной и бревном. Между пенальти в финале чемпионата мира и кислым фиником. Но знаете ли вы мое имя?

Удачно притворившись действующей жрицей скудоумия, девушка просопела в пресном моно что-то минорное.

– Что, простите? – спросила она.

– Вы мое имя знаете?

– Не имею ни малейшего представления.

Естественно, не имеет: так же решительно, как и то, кто же изобрел логарифмы. А изобрел их шотландский барон, которого звали Джон Непер – с его везучей фамилий он недаром придавал такую важность своим занятиям богословием.

– А хотите узнать? – спросил Корнилов.

– В принципе, не очень.

Итак, беседа завязалась и из нее выяснилось, что девушку зовут Олей, она предпочитает белых лебедей чернокрылым змеенышам, верит в предание, застолбившее оплошность создания Стоунхенджа за Мерлином, и учится на чем-то связанном с кино. И как бы ни был Корнилов далек от всего суетного, Оля ему откровенно понравилась – обмениваясь с ней любезными репликами: «Вам не скучно так внимательно портить свои глаза? Скучно... А вам? Я не внимательно. Вы не специалист, вам простительно. Я давно знал сие. Что не специалист? Что простительно» – он смотрел нерядовую картину «Доктор Манкузе, игрок» пока она не кончилась. Зал они покинули вместе, и после обмена тяжелыми по части расставания взглядами, Корнилов негромко спросил:

– Не обидетесь, если я вас до дома провожу?

Время еще час назад стало поздним и мало подходящим для провожания, но Корнилов уже выпал из привычной гробницы отказа от помыслов нещадно обманываться. В кровь, как свалившийся с велотренажера близорукий ницшеанец он не разбился, но и утраты болезненного напряжения не приобрел. А Оля и не думала смущаться.

– Вообще-то, я далеко живу, – сказала она.

– Далеко это где?

– Надо дойти до метро и доехать до Марьино. А потом еще и на автобусе. И пешком.

Не близко: услышав в любой другой не характерный сегодняшнему день про такие сложные перспективы, Корнилов бы не растерялся – сочувственное похлопывание по плечу, пожелание не упустить мирского перевоплощения всего прекрасного, ускользание в преуспевающую безоблачность. «Пойдем, родная... кто куда». Но сегодня он оплошал.

– Ну, что же, – вздохнул Корнилов, – я бы нашел, как мне выжить и не сходя с места, но Марьино так Марьино.

– Вы серьезно?

– А я что, похож на легкомысленного?

Оля небрежно засмеялась.

– Да нет, не очень... – вполголоса сказала она. – Скорее, вы похожи на большого волка – большого и улыбающегося, но улыбающегося из-под палки.

– На кого я похож? – не понял Корнилов.

– На себя.

Вкрапление декаданса, что-то вроде: «Обезглавленный труп был изнасилован судебным экспертом». Но пластинка-то заезженная.

– А почему именно из-под палки? – спросил Корнилов.

– Не знаю. Похожи и все.

Дорога до Марьино прошла не эмоционально: Корнилов безмолвно размышлял с чего бы он похож на улыбающегося из-под палки волка – не на того ли, что несет в подмышках золотые яйца; их снесли нестерилизованные ангелы, и он доставляет их к Меконгу, к Шпилю Мироздания, к покосившимся шатры набожных нищих – Оля, отгородившись от него нигилизмом

затылка, трепала глазами мятого Павича: женскую версию одного словаря, изученного Корниловым еще во сне и на сербском.

Святой водой промыл глаза
Он мертвому себе
Но не скучал – ведь голоса
Послышались в листве.
Ни звуком с ним не поделюсь
Они плодились в нем
А он их слушал, не таясь
Что слышит их дождем
Не шедшим сверху с той поры
Когда он был живым —
Ему не скучно знать, где мы
Над пропастью смердим.
Планета лишняя Земля
И он на ней мертвец
Но он не скажет: «Боже, я
Я тоже здесь отец».
А если скажет, то ему
С судьбой не по пути —
«О Боже мой, зачем, к чему
Мне ночь не перейти?».

Поднявшись из метро, они только и успевали отмахиваться от навязчивого снега, так и норовившего залезть за шиворот и, торопливо растаяв, потечь по их спинам ненадежным заменителем пока еще не выдавленным сдержанными телодвижениями капелек пота: ожидание автобуса заняло где-то в районе часа – Оля сказала: «Мы могли бы ехать и на маршрутке, но я на них больше не езжу: в последний раз, когда я на ней ехала, меня там чуть не изнасиловали. Водитель, конечно же, помогал, но я так и не поняла кому» – и вот они уже в автобусе, уединяются на ровном плато задней площадки; сидения поверх кожаного заменителя обтянуты наростом инея, Корнилов с Мариной стоят – сухо соединяются под тусклой свечой поворотов, пошатываются, сходят. Им остается решающий отрезок пути. Но он ничего не решает – как говорил Корнилову непонятно откуда взявшийся в Сетуни меннонит: «Не прячь, а то найдем. Не находи, а то снова спрячем».

Применяя всю возможную деликатность, Корнилов попробовал уточнить его протяженность:

– К вам долго ехать, но мы уже приехали. Прибыли и дрожим. Идти к вам тоже часа полтора?

– Теперь уже близко, – ответила Ольга, – минут пять-семь. Смотря как идти.

Идти быстро Корнилову было ни к чему: он уже выяснил, что заночевать у Оли ему не придется – она как бы вскользь упомянула о целом гурте прилетевших родственников: то ли из Самары, то ли с того света, Корнилов не разобрал – а метро, если уже не закрыто, то непременно закроется. Вновь не дождавшись его возвращения. «Лошадь бежит навстречу машине – без околичностей сближается, перед столкновением подпрыгивает, летит копытом вперед, лошадь в черной попоне, лошадь-ниндзя... неправда... подобное возможно... ты не знаешь жизни... я не знаю хорошей жизни. А в дерьме я плаваю, как утка. По высшему разряду» – Оля остановилась спустя минут двадцать пять.

– Ну вот, – сказала она, – я уже и дома, что меня безусловно устраивает – спасибо, что проводил. Есть чем телефон записать?

– Есть, есть, – проворчал Корнилов, – у меня и ручка есть, и рука, когда я буду записывать твой телефон, едва ли задрожит.

– Тогда записывай.

Корнилов записал.

– Свой мне наметь.

Он продиктовал и, придавая анафеме леденящее кощунство его нынешней диспозиции, частично просел насупившимся духом. «От уловок иллюзий, от них, да...». Что же касается Оли, то наскоро записав его телефон в яркую записную книжку, она демонстративно поежилась – ее намерение уйти Корнилов уловил сразу же: «Я? уловил... и слоны... не я – нам мало известно о слонах... они любят валяться в грязи не меньше свиней».

– Сегодня, – пробормотал он, – был нелегкий день. Чтобы не сказать, что его не было. Сходим куда-нибудь завтра?

– Завтра? А почему бы нет, завтра можно. Я бы с удовольствием сходила в театр.

Поздно тебе, милая, с девками-то плясать...

– В какой? – спросил Корнилов.

– В какой билеты достанешь.

Известие, что бремя добычи билетов возложено на него, было обескураживающим и неприятным, но его затратно экспериментирующее чувство выдержало и это.

– Тогда я завтра позвоню?

– Давай. Я дома буду. – Повернувшись к Корнилову не лицом, Ольга формально взмахнула рукой. – Ну, видимо до завтра. Счастливо.

И ушла. Не то чтобы Корнилов ожидал страстных лобзаний, но предложенная ею сухость расставания показалась ему избыточной, и если бы не действительность, устрашающе расслабляющаяся прекращением снега и как следствие падением градусов в еще больший низ, он бы обдумал коллизию между своим потугами сблизиться и ее «Живи без меня и хоть не живи» куда посерьезней. А так он бросил все аналитические усилия на шаткий алтарь выживания – возможность загнуться под звездным небом его ничем не прельщала и, понапрягав окоченевшее серое вещество, Корнилов без малейшей эйфории понял, что ему не остается ничего другого, кроме как воспользоваться единожды проверенным способом – повторяться ему не хотелось, но не расплачиваться же за прихоть ее осуществлением? Как перешептывались между собой неулыбчивые архиереи в светлых подризниках: «Желания есть у меня нет. А желание нет у тебя есть? Съело уже».

Дойдя до телефонного автомата, Корнилов набрал 03, и торопящим замолчать голосом настойчиво поведал о плохом состоянии сердца у человека, находящегося в конце такой-то улицы и беспомощно надеявшегося на спасительность их приезда.

Говоря о плохом состоянии своего сердца, он почти не сгущал. Заведя его сюда – в обвальную нарастающую досаду полнейшего расхождения с искомым – оно-то над ним и владало.

Подобравшая Корнилова бригада состояла из людей не подотчетных суевериям инструкций, и это позволило ему, недолго покатавшись в их команде за рассказчика, нормально провести ночь под кровом относительного тепла дежурного травмпункта. Чтобы заручиться их рекомендациями на право ночевать в помещении, Корнилов рассказал им об уходе за душой давным давно преставившегося в Индии английского офицера – по существующим там повериям души весьма мстительны, а у того офицера особенно, поскольку он неоднократно выказывал свою подкрепленную саблей демоничность и при жизни: замазывал очи местным божествам – «Чем? Нет, не этим... Кажется, слюной» – приглашал встряхнуться и побоксировать степен-

ных брахманов, требовал от них слепой отваги; проходил по канпурскому радже вырезанной из священного ясеня битой для крикета – принося ему на могилу водку и сигары, они тем самым отбивались от боязни терпеть от него страдания и после его кончины.

Корнилов поведал им о до сих пор практикующемся в тотемических общинах обряде инициации – подразумеваемом в данном контексте «ритуал сексуальной зрелости», в течении которого молодой человек обязан совершить половой с живым или, на его усмотрение, мертвым животным – а также о джайнской нирване, о недопустимости гегемонии пролетариата; о застрелившемся стихотворце: «Был такой поэт Виктор Гофман... Талантливый? Не мне оценивать людей подобной направленности. И чем он тебя поразил? У него легли на бумагу запомнившиеся мне слова: „Полюби бесстрашие, свет и самовластье. Только в этом счастье. Только так живи“ – тут я его поддерживаю», и некогда правившем в Афинах на протяжении десяти лет Деметриосе Фалерском, издавшем закон об усечении роскоши погребения и бывшим первым афинянином, осветившим волосы перекисью водорода.

Высадив Корнилова там, где они с ним и условились – «Скажешь, что от Славы Лобова, тебя впустят» – экипаж опорожнил занимаемое им место с закономерным облегчением.

Отвернувшись от ночи стесненным продолжительным отсутствием где бы то ни было сознанием, Корнилов заметил возле себя плешивого мужчину, дымившего ему в ноздри вонючей «Примой» и выразительно надкусывающего передние зубы попеременно солирующими клыками.

Мужчина, вероятно, был демоном. Когда-то он был человеком, но стал демоном: в глазах знание Трех учений, в руках вырывающаяся матрешка, за щекой распорка для пластилинового канатоходца.

Ты здесь не просто так, – лихорадочно усмехнулся Абрахам Принцепс, – я не о земле, где ты случайно, а о травмпункте. Но как бы ты себя не обманывал, человек в человеке это и есть демон. Ты что сломал?

А вы бы предпочли, чтобы я что сломал? – поинтересовался Корнилов.

Да по мне... по мне... и значение несломанного позвоночника слишком преувеличено! – Безответно засмеявшись, Абрахам Принцепс уже заходил в предгрозовом кашле. – На погосте-то всегда летная погода!

Веское наблюдение. Но как он ответит на:

– Вы сами-то живы? – спросил Корнилов.

– Тторро! – прокричал плешивый. – И вряд ли сам!

Нецензурно помянув все десять Израилевых колен, Абрахам отчетливо погас кланяющимся исчезновением. Но отчетливо погаснуть с нас всех станется – голозадому палестинскому мальчишке дали пару щербатых медяков, он купил полную торбу всякой всячины, понурился и обделенно пробурчал: «Еле денег хватило...».

Добравшись домой фактически без осложнений – на предложение среднего перста судьбы пробежаться ради повышения тонуса впереди поезда, он отреагировал поднятием своих таких же – Корнилов вынул из кармана пальто, длинного, гладкого предмета, повешенного дожидаться очередного приступа заинтересованности в его участии, взятый на просторах подземки рекламный листок и, осторожно грызя покрытую бетоном заустения сушку, углубился в безразличное впитывание заключенной в нем информации. Прочитав лишь заглавие – «Минус простатит, но плюс аденома!» – впитывание он стреножил. Лучше сейчас же заснуть и сделать почти не выходявшие из его повиновения нервы еще более провисшими. И Корнилов заснул. Проветривая мышление ритмичным подхрапыванием. Ворочаясь при своих. Видя нелепый сон, понукавший гвардию его обособленности к чему-то большему. Б. огом Г. онимый пел про «Сны о чем-то большем», так этот как раз из них: в этом сне Корнилов был капита-

ном межзвездного корабля, являвшего собой последний бастион землян в какой-то бесконечной и всем опустылевшей войне – рассекая смелым взглядом открытый космос, он эффективно думал о судьбах галактик. Ситуация представлялась поганой, но шансы пока оставались. Ближе к полночи в его рубку влетел запыхавшийся крепыш в изодранном облачении пластмассовых лат.

– Мой капитан, беда! – громогласно прокричал Андроник Пугач.

– Я, – улыбнулся Корнилов, – уже отвык так серьезно воспринимать наши глобальные неудачи. В чем дело, четвертый?

Крепыш опустил глаза:

– Мерилин Менсон только что признался мне в том, зачем он в такой степени замазывает себя гримом. Грим делает его страшным, но без грима он, по его словам, еще страшнее, чем с ним. Но не дело не в этом – мужайтесь, мой капитан.

– По поводу чего мужаться?

– Вашу женщину похитили.

Издав приближенный к звериному рык, Корнилов вдребезги разбил главенствующую в нем непроницаемость.

– Кто!? – проорал он. – Я спрашиваю тебя, кто?!

Слывя, судя по всему, человеком бесстрашным, Андроник Пугач демонстративно замялся, и только когда Корнилов выхватил бластер, еле слышно прошептал:

– Пришельцы...

– Пришельцы?! Да как они посмели! Да я...

Корнилов настолько гневно подпрыгнул в своем капитанском кресле, что вывалился в реальность и, сильно ударившись головой о подлокотник дивана, безвременно комиссовался с коленопреклоненно молящей о его руководстве передовой. Немного посидев: «переход к мирной жизни, подумал Корнилов, и тот требует отдышаться», он подошел к книжному шкафу и достал Новый Завет. В нем он хранил свои сбережения. Отложенные как на случай, если ему захочется пройтись от Полянки до Третьяковской, периодически опуская руку в коробку с рахат-лукомом, так и на случай, заставляющий тратить в угоду не слишком воскрешающим медикаментам – Корнилов как-то спросил, и ему неожиданно ответили; он спросил у лысеющего донора Кирилла Чубко: «Вам не кажется, что уже пора копить на лекарства?» и самоотверженный глупец ответил ему: «Мне кажется, что копить следовало бы раньше. Теперь накопленное пора уже тратить».

Сбережено было мало, но на два билета вроде бы достаточно. Ну, а если не достаточно, куплю только ей, а сам как-нибудь попрыгаю на порожке – чтобы хотя бы до окончания спектакля не допустить образования в крови тромбов, несколько напоминающий строением своей кристаллической решетки замерзшие слезы надежды.

Не желая себе навеваемого своей же ретивостью вскрытия – завывающе бубня: «Dark of night by my side» – Корнилов принял душ, съел еще одну сушку и отправился за билетами. Подойдя к театральной кассе, он намеревался не торопиться с определением куда бы ему вложить свои ограниченные средства – ничего не зная о современных веяниях и, не стыдясь вызывать затруднение недоуменным ползанием по стеклу объединенных солидарной растерянностью глаз, Корнилов помыслил, что будет вернее чуть-чуть потолкаться и посмотреть, что же предпочитают покупать обыкновенные люди. «Живут, они живут – ездят, загорают, отдыхают. А я считаю каждый пельмень» – соотечественники выдерживали разное, но кое-какая тенденция все же наметилась: хаотично направляясь по высохшему руслу их стылых симпатий, Корнилов приобрел два недешевых билета в театр, упоминаемый ими чаще остальных.

Идя на платное производство лицедейства в исконном одиночестве, он бы пошел на что-нибудь пооригинальнее, к примеру, на спектакль под динамичным названием «Самые гои из геев и гоблины поверх всех». Точнее, он не пошел бы никуда.

«Не снись себе с другой»
Она ему сказала
Но он сказал: «Постой,
Поведай мне сначала
С чего бы в моих снах
Одна ты вечно спишь?»
И ей бы крикнуть: «Ах!
Прости меня малыш
За глупый разговор
За чушь в моих словах»
Но нет, берет топор —
Мой бог, какой замах.

Согласовав с Олей место и время встречи недостаточно рациональным звонком — *Noblesse oblige*: разум в опале, но в брюках восходит солнце — Корнилов не ощутил внутри себя какого-то потаенного ренессанса. Но пока все складывалось не... пока все складывалось.

Теперь, пройдя через пять жутких путешествий в иные миры, он сидел в питейном заведении, называемом Корниловым «Выпил-вали» — в той забегаловке, где он однажды отвечал на вопрос не совсем полюбившей его женщины. Елене Нестеровой было интересно, указано ли где-нибудь в Библии, что у самоубийцы нет никаких шансов оказаться в раю, и Корнилов авторитетно заметил: «В Библии об этом ничего не сказано. Мне, вообще, не ясно, откуда тут уши растут — если в связи с Иудой, то причем здесь остальные».

Тем же вечером «Дождливая Зима» Нестерова сказала своей умирающей от рака матери: «Мы скоро с тобой увидимся. Гораздо скорее, чем тебе сейчас кажется» — едва похоронив свою мать, она легла в ванну и, полоснув по венам используемым для резки бумаги ножом, устремилась за ней.

Бог в помощь — Корнилов пил пиво и вычеркивающе считал минуты; он вычеркивал их и из Пространства Времени, отделяющего момент прихода Оли всеми доступными ему мерзостями, и из своего же необновляющегося запаса, изначально отпущенного ему на предательское спокойствие — когда этих минут осталось не больше пяти, Корнилов непоколебимо встал из-за стола и отправился под землю. С такими глазами не радуются, но он шел. Переступая через распростертые тела на сегодня уже разуверившихся — пьяный бомж; пьяный, но не бомж; издающая отрывистый мат полуживая дама — и пассивно сомневаясь в чистоплотности Кормчего. Стреляющего с бедра. Прицельно. Нескончаемыми очередями. Достигнув оговоренного центра зала, Корнилов занялся приготовлениями к предполагаемо надвигающейся на него объятиями встрече.

Повсюду носились забитые сдавленным народом поезда, шныряли перекошенные в тщеславном унынии лица — Корнилов стоял в центре зала могучим форпостом «Неведомо высокого» и никому не позволял столкнуть себя с непреклонного ожидания предвкушаемого. Решивший пробежать сквозь него порывистый азербайджанец убедился в этом полутораметровым отскоком, но ожидание слегка затягивалось: Корнилов походил восьмеркой вокруг колонн, сверил свои часы со станционными — на счетчик опоздания набежало уже семнадцать минут — нахмурился. Прогрессирующе преисполнился раздражением.

— Не придет она, барин. Зря приперлись.

— Поглядим.

— Гляди, не гляди, а настроения вам это не прибавит. Оно у вас, как, приличное?

— Ничего неприличного я в нем не чувствую.

– *Нечувствительный вы, барин, какой-то. Если чего в коем веке и почувствуете, так и то нечувствительно... Чувствуете?*

– *И угрожающе чувствительно.*

Угрожающе чувствительно Корнилов чувствовал прижимающую его все плотнее необходимость отлить. И еще он чувствовал, что для отсрочки улаживания данного вопроса, без доводки его до экстремального состояния, у него есть минут десять – фаустовское стремление к бесконечному тут ни при чем, просто ничего хорошего: пытаюсь отвлечься от низменного, Корнилов попытался заставить себя думать об Олиных глазах – об их глубине и каком-то нездешнем блеске. Но о глазах как-то не думалось. Корнилов сел на скамейку, и с видом до полусмерти прибитого обвалами путника, только что прошедшего Марухским перевалом Кавказский хребет, уставился в бредовую мозаику панно. «К вечеру я наполнен приземленностью, за ночь ее не избыть – не устоять перед возможностью встать с кровати и хмуро ходить из угла в угол» – соседствующий с ним индивидуум отреагировал на его отнюдь не медовый взгляд весьма раскованно: Корнилов в разладе со своим собственным пониманием фатализма; Луис «Онуфрий» Педулин в монашьем одеянии.

– Что, молодой человек, совесть мучает? – спросил он. – А вы подайте на строительство храма святого Миколы-барабанщика, вам и полегчает.

Подбородок Корнилова не повернулся к просителю ни на йоту – штрафбаты формировались еще в Древнем Риме; пропускай, не учитывай, это не причем; конец близок, близок, близок; Корнилову не хотелось говорить о противолежащих воротах храма Януса; конец, конец, близок, Корнилов ничего не слышал о предназначении храма Миколы-барабанщика; близок, конец близок, ворота храма Януса были закрыты во время мира и открыты во время войны; конец, конец, близок, близок, конец – мир ли, война, а Корнилову было уже не до слов. И мучила его не совесть. Ему вряд ли полегчает даже если он отдаст этому человеку все свои деньги.

– Подайте, молодой человек, – продолжал басить Луис Педулин, – я же прошу у вас на строительство храма Миколы-барабанщика. Не на блядей все-таки.

– И где он... не сейчас... где он барабанил?

– В райском оркестре. Этот оркестр зарабатывал деньги на общественнополезные нужды – дома престарелых для архангелов, трудовые колонии для небезнадежных грешников и тому подобные богоугодства. Микола был в нем просто примой. Во многом благодаря его игре оркестр приносил солидный доход. Его трепетная манера имела очевидный успех. Особенно у женщин... И Микола дрогнул – его все чаще видели в черном пределе, где содержались самые отъявленные грешницы. А на такие дела, как вы сами вероятно разумеете, нужны деньги. И он, втайне от братии, стал прикарманивать часть барышей. Было проведено тщательное расследование и, как он ни отпирался, факты были против него. Наказали его сурово. Сделали лоботомию и сбросили на землю в чине какого-то настоятеля. На него уже махнули руко, но вдруг... Молодой человек, вы знаете, что такое чудо?

– Не часто.

– Это все от неверия. А чудеса, поверьте мне, случаются. Одно из них снизошло и на Миколу. Ни с того, ни с сего, он обрел такую набожность, что даже самые скептически настроенные херувимы одобрительно зацокали языками. Схватившись с довлеющим над ним обмирщением и бесстрашно набирая ореол святости, Микола с рассвета до заката бил поклоны, непрерывно бормоча «Отче ваш и мой тоже». А как он постился... Целыми месяцами он питался лишь одними вишневыми косточками. Заметив его небывалое рвение, наверху собрали апелляционную коллегию апостолов. И она проголосовала за его прощение – теперь он ведущий фальцет в хоре имени наисвятейшего отречения Петра-избранника. Прощение, молодой человек, главное оружие создателя.... Молодой человек, вы куда?

«Наверх, Луис – я разбежался, прыгал, нырял... с последующим всплытием? всплывало... не только тело – со мной вместе» – Корнилов, подгоняемый изнутри головы скомпонованным в плоть «Танцем с саблями», уже огромными скачками бежал по эскалатору – резервуары двусмысленного романтизма в нем полностью истощились и поставленная перед ним задача угрюмо каялась перед ним примитивизмом своей заурядности. Теперь сроки не поджимали: теперь они где-то даже дожимали его.

А кровь идет от головы
Но голова в ногах —
Его согнули так псалмы
О складе, где монах
Пока еще не подобрал
Свой ключ от сундука
Но что сундук... горит запал
И значит он сполна
Себе воздаст за ворожбу
В зудящей голове
К ногам склоненной наяву

Вернее, в жутком сне.

Выскочив наружу, Корнилов мобилизовал все свои силы – нетвердо потянувшиеся всхлипывающей гурьбой в часовню «Пригвождения к кресту, нарисованному на небеси столкнувшимися самолетами» – пройдя одной сплошной перебежкой до первой приютившей его подворотни, он увидел в застывшем воздухе собственную вертлявую голографию и приступил к облегчению себя от ополчившегося на него потерей терпения негатива.

«Ты, Корнилов, силен. Как выдохшийся, измочаленный, но удовлетворивший великаншу гном. Посильнее опиумной настойки... Неужели? Но не умом, а хладнокровием. Мой ум надежен? Похоже. Но обладая неучтенными мной... Их нет. Да есть, Корнилов. Не на виду, но в наличии» – за ним, вероятно, следили. И окликнувший его голос был надменен и сух:

– Давай, мужик. Заканчивай и поехали.

До услышанного по дороге в Дамаск голос никак не дотягивал, и Корнилова от него не пошатнуло. Если ему дадут закончить, все остальное ему будет до лампы – как и тогда, когда согласившаяся с тем, что она беременна не от него «Невразумительная Э-э» Суханова желчно сказала Корнилову: «Смейся, смейся – еще наплачешься», и он только поцеловал ее в колено, беззлобно прошептав: «Да я же и так сквозь слезы».

Невозвратность, пересуды, чары ведьмаков, что-то из всего этого древнее Вселенной – закончив, Корнилов обернулся к приглашающим его скучно развеяться легавым с лицом настоящего отдохнувшего человека.

– Поехали, – сказал он.

– Ты поступаешь в наше полное распоряжение, – туповато усмехнулся белесый сержант, – мы можем бить тебя руками по голове, но можем и ногами по яйцам. Ничего не боишься?

– Боюсь.

– Да?

– Боюсь испугаться.

В отделение с Корниловым обошлись довольно цивилизованно: протокол, штраф, в общем ничего воцаряющего надевание холщового «san benito» с нанесенным на него выщипанной предварительным следствием кровью пламенем – ни бумажных колпаков «согоза», ни бичевания голодными кобрами. Но если бы перед Корниловым предстал сам Бог и сказал

ему, что его нет: «Меня нет. Ты видишь лишь мою проекцию в вашем обреченном мире» – Корнилов бы с ним не согласился.

Всевышний перед Корниловым еще не предстал; личный унитаз посреди сада камней для него пока не поставили, зато Ольга позвонила ему на следующий день. И причины ее вчерашнего отсутствия состояли в том, что: потерялась одна из ее контактных линз – так вот откуда нездешний блеск – это раз. А во-вторых ей стало неудобно идти в театр с мало знакомым человеком. Но сегодня, когда стоны безвинных малюток уже улеглись, она обдумала свое жалкое поведение, и ей стало ясно, что она была не права – в эту минуту Ольге понятно, как ей стыдно, и вследствие этого она приносит ему свои извинения. Она сожалеет, не зная, как бы он поступил, если бы амбициозные панки вручили ему пачку таблеток – аконитин, худшая часть волчьего корня – протянули ее, спросив: «Умрешь с нами за компанию?». Оля не догадывалась, что Корнилов ответил бы им: «Ни за что. За компанию никогда. Я не компанейский» – ее саму он выслушал со всем возможным молчанием, но предложение повторно встретиться сумел все-таки отклонить.

Некогда ему. Совершенно некогда во второй раз – в собственных глазах – выглядеть идиотом.

4

Утро было сказочное, и Корнилов коротал его тем, что потягивался – не подтягивался, а именно потягивался. То есть в кровати. Экстренных дел на сегодня не планировалось. «На работу? Смешно. В могилу? Тоже не грустно» – Корнилова это не нервировало. Даже наоборот, их отсутствие только способствовало такому нелишнему занятию, как лежание в кровати: час другой с утра, пару часов после обеда, а там уже подошла ночь – скажешь себе: «Спокойной ночи» и мужественно засыпаешь активистом доставшейся тебе при разделе наследства комы. «Привычка к отсутствию радостей, для моих зубов не надо сладкой пищи, счастье не обладает субститутами, но некоторые правила способны быть и исключениями из них самих».

Корнилов перевернулся на левый бок. Еще можно поиграть в слова. К примеру в такие, как гений и гей: если в слове гений третью и четвертую буквы перенести вперед, получится «ни гей», следовательно, допуская провокационную погрешность, гений – это не гей. Корнилова это обрадовало: геєм он не был и стало быть у него были все предпосылки для того, чтобы быть гением. От подобной перспективы он едва – но это «едва» превышало экватор выпекаемого Ими пасхального кулича – не прослезился. Ему захотелось поклониться и трепеща от оказанной чести, простонать: «Спасибо вам, люди. Спасибо вам за то, что вас здесь нет». Но тут в дверь позвонили. Вот так всегда: стоит заняться чем-нибудь полезным, так нет, обязательно побеспокоят – наверное, будут предлагать что-нибудь купить. Какую-нибудь вешалку на батарееках.

Подойдя к двери, Корнилов посмотрел в глазок. Все оказалось хуже, чем он ожидал.

За дверью стоял участковый.

– Открывай, Корнилов, – сказал он. – Я знаю, что ты дома.

Корнилов доложил себе о визите невидимой визитеру усмешкой:

– А откуда ты это знаешь? Космическая разведка? Теперь они своими хоботами уже и в окна заглядывают?

– Не твое дело. Открывай.

– Минуту. Только душ приму и ценные вещи попрячу.

– Корнилов, не идиотничай. Я по делу.

Данное замечание, по-видимому, должно было утвердить визитера в своих незаурядных правах, безапелляционно отвергающих поползновения навещаемого сохранить заочность их

общения на прежнем уровне – ничего из себя не представляющем и бывшим для Корнилова *in extenso* приемлемым.

- По своему? – спросил Корнилов.
- Что, по своему?
- По своему делу?
- Уж не по дядиному...

Да произрастет лишаем потомство твое, Бандерлог, да не разойтись тебе на узкой дороге с плюющимся скорпионами верблюдом.

– А у тебя и дядя есть? – поинтересовался Корнилов. – Может, под тобой и женщины не смеялись?

– Давай, давай... Я все равно никуда не уйду.

– Совсем заняться нечем? Сочувствую... Там в коридоре коробка стоит. Нет, правее. Можешь на ней посидеть.

Корнилов не любил Бандерлога. Его вообще никто не любил – в никто включаются мягкие женщины и жесткие деньги; нежные лиры творчества и пугливые стиратели пыли с треснувшего барельефа «Садко-гуслира, своими гуслими всех уже до озверения умаявшего» – и есть небезосновательное предположение, что и не полюбит. Бандерлог был настоящей сволочью, и сволочью не забитой и приниженной, как Троянский конь, впоследствии ускакавший и от греков, а самоуверенной и до дикости наглой. В отрочестве – велика мощь отчаяния сего изворотливо ускользящего времени – Корнилову довелось поучиться с Бандерлогом в одном классе. Та еще радость. Отнюдь не верх блаженства – по части различных, подрубающих навзничь побеги сносного настроения подлостей Бандерлог являлся неумеренным лидером. По своему титаном. Феноменом. Правда, был один случай... Корнилов не сдержался и рассмеялся в голос.

Бандерлог наострился.

- Чего ты там смеешься? – спросил он.
- Свое отражение в зеркале увидел.
- Мерзкое зрелище, да?

Он и слово «Бог» без ошибок не напишет, а все туда же: споткнется и рухнет в снег. И лежит в нем без сознания – без сознания, но злующий.

- Ага... Ладно, Бандерлог, вали отсюда.
- Не смей называть меня Бандерлогом! Не смей и все! Зови меня товарищ лейтенант.
- Хаттаб тебе товарищ...
- Его, кажется, убили.
- Тебе бы тоже, да? Согласен, да?

Ну, так вот, был один случай. В школьные годы у Бандерлога неоднократно воплощалась одна убедительно проводимая в жизнь заготовка: в день важной контрольной, к примеру, по русскому – важность тогда танцевала на прогневших слезами юного мироистолкования подмостках – он приходил в школу с загипсованной правой кистью и, удобно разместившись под безразличным взглядом преподавателя, выдавал угрожающе-протяжную трель щенячьего поскуливания. «Ничего не поделаешь, – говорил Бандерлог, – не все во мне сегодня живо». Руку он, разумеется, гипсовал сам и достиг в этом волевом упражнении определенных высот – в учительских кругах ему поначалу сочувствовали: «ну и скоты же его родители: и глупым лицом, и слабыми костями ребенка наградили», потом уже удивлялись: «до чего травмоподверженный мальчик», а затем начали понемногу догадываться, где тут зарыта собака. А может, и целая корова. И как раз тогда, когда их догадливость достигла пика, Бандерлог сломал руку по настоящему. Или ему сломали, благо основания, буквально, валялись под ногами – короче, задевая животом за второй подбородок, Бандерлог протискивается в школу, садится на место, кряхтит, демонстрирует всем видом, как ему паршиво, и учитель физики – Валентин Сергеев

вич Хипланов: поклонник печальной скромности ничего ей не добившегося Ниенса де Сен-Виктора; великолепного «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна и ненавидевших этого физика пожилых фигуристок – только ехидно хихикнул: сходи, сказал он, к доктору. С доктором Илваровым все уже было оговорено предварительным сговором: он посадил Бандерлога на стул, а сам – спокойно, без пены изо рта и робкой эрекции – достал довольно увесистый молоток. Вот так... а-ааа!...еще так... ё-ёё! Как говорится – и здесь, и в контексте любовной авантюры с физически не подтвердившим снедающее его желание: «вышла небольшая конфузия». Все, само собой, и не над собой, посмущались, покривили губами, и успокоились. Какой смысл терзать себя понапрасну – жизни Бандерлога и близко ничего не угрожало, а все остальное, по большому счету, выставляемому растопыренными пальцами провидения в глаза пока еще моргающих ими адептов нетленного духа – суэта и бестолковые аллюзии на нее. Да... Приятное воспоминание. Но несравнимое с ныне транслируемым в голове сновидением; со вчерашним сном, почему-то переложенном на тревожные стихи – о трансляции заранее не предупредили, но так уж заведено.

*Кто тут верит в карусели?
На енотовых упряжках
В цирк уехали пророки
Накормившись пирогами
Насладившись батраками
Развеселым кардиналам
За морем житье не худо
Здесь житье не худо тоже.
Положите в это блюдо
Больше денешек хороших
Ты увидишь представленье
Клоуны бегут по стеклам
А за ними пеликаны
Сексуальные гиганты
Догоняют трех японок
Фавориток летних гонок
Вы желаете получше?
Бросьте лишнюю монету
Толпы злых усатых женищин
Будут очень благодарны.
Вы глазами шевелите
Ничего не упускайте
Вам простят – вы не простите
Это добрая примета
Когда смертные довольны.
Тот тщедушный и прыщавый
Пару фокусов покажет
Нервных просим удалиться
Нарисуйте ваши лица
На спине у той матрешки
Все народные умельцы
В раз от зависти опухнут.
На неведомой дорожке
Возлежит усталый хобот*

*Вокруг пляски удалые
Люди радуются свету
У святых сомнений нету
Что все это понарошку
Что наполнится лукошко
Жемчугами или перцем
Под макетами Бастилий
Им дадут живую воду
На субботнюю субботу
Мы наметили братанье
Между гордую ордою
И максимом-пулеметом
Раночку промоют йодом
Отпеванье будет быстрым
Маханут чуток кадилом
Бодро скажут «До свиданья»
Присылайте, мол, приветы
Мы вам свежие газеты
Калорийные паштеты
Там особо не скучайте
Дрессировщики на выход!
Выходи пузатый пони
С пластилиновой медалью
За терпенье и отвагу
Прирожденный царь животных
Символ почестей природных
Поклонись своим вассалам.
Ты своих соседей любишь?
Подари им свое тело
Если сердце захотело
Пусть побалуются вдоволь.
Угощайтесь сигарой
В знак лихого примиренья
Ради цели поздравленья
К нам приехала жар-птица
По аферам чудо-мастер
Внешне просто Берт Ланкастер
В анτισолнечной панаме
На погонах бумеранги
Деревянными зубами
Чуть надушена улыбка
В пересказе сем ошибка?
Недомолвки и подвохи?
Ну тогда начнем сначала.*

«Сначала, пожалуй, не стоит» – Корнилов заглянул в глазок. Бандерлог, как и было велено, послушно сидел на коробке.

– Ты еще здесь? – спросил Корнилов.

– Ну...

– Знаешь, Бандерлог, мое отношение к жизни это мой щит – иногда у меня не хватает сил, чтобы его приподнять, но оно тут ни причем. Тебе музыку поставить?

– Гляди, дошутишься... Эй, Корнилов!

Да будет тебе стесняться, попробуй сразу «Э-ге-ге-й!» проорать. Чтобы совсем, как в лесу.

– Чего?

– Открой, а?

Просится он ласково, но при этом излучает столько гамма-излучения – из-за содержавшегося в потоке переизбытка воли еще более губительного – что кажется, будто бы где-то неподалеку кучно взрываются сверхновые. «Лети, лети, самолет – я остаюсь. С ними. Со своими. С родными... У меня нет денег на билет» – Корнилов снисходительно относится к глобальному размаху педерастии и борьбы с курением, и после мысли о человеке за дверь, он вспомнил увиденную им в позолоченном альбоме гравюру, на которой поиздержавшийся под Полтавой собственной кровью король Карл был плоско изображен в отливающей тщетным золотом погребальной короне. Вспомнил и с заботой за себя содрогнулся.

– Предположим, я открою... – еще ничего не решив, протянул он. – Но зачем это мне?

– У меня к тебе дело есть.

– Ко мне или на меня?

– Точнее, предложение. Скорее, даже просьба.

Лучевая болезнь, пусть и затрагивавшая лишь клетки отвечающие за мораль, Корниловым как-то не предусматривалась – из глины вылепив костер, забудь пугать им мрак степи. Сорвешься, если не сорвут ударом сабли с полпути.

– Ну что поделаешь с тобой... Давай уж, проходи.

Напыщенно перейдя линию входа, Бандерлог, не скрывавший того, что он весьма обрадован оказанным ему припадком безрассудства, направился напрямик на кухню. Там он выбрал самое большое яблоко и начал им жадно почавкивать.

– Как сам, Корнилов? – спросил участковый.

– Дожуй сначала.

– Подумаешь, какие нежности... Ты сейчас где работаешь?

Подведя наскоро сколоченную, но имевшую на борту немалую свору мелкокалиберных пушек, бригантину к нейтрально цепляющему волну фрегату, Бандерлог наивно напросился на укрепление своей палубы подарочным набором из летящих туда – с уже зажженными фитилями – плотно спрессованных порохом и гвоздями бочек.

– А я сейчас работаю? – спросил Корнилов.

– А я откуда знаю?

– А я?

– Что, а я?

– Да ничего.

Вцепившись за поручень дымовой завесы – единственной, что осталось после ухода под воду всех предметов тяжелее дыма – Бандерлог каким-то чудом все же удержался от фатального погружения.

– Что, ничего? – тихо пробормотал он.

– Совсем ничего, – ответил Корнилов. – Ну, в крайнем случае, почти совсем.

– Но я...

– Вдали вопят и стонут.

– А я...

– Тебе рвет морду пенистое.

Бандерлог достал из кармана обрывки носового платка и попробовал ими усиленно растереться – вовлекая его в корпоративную пучину, дым оберегающе рассеялся, но печальны были последствия для ему – и им – преданных.

– Ладно, хватит об этом, – сказал Бандерлог.

– О чем?

– Ну... Об этом.

Корнилов негодуя нахмурился:

– О каком таком этом? Мы что, ни одни?

– Одни, одни... У меня уже голова заболела.

– Наверно, фуражка узкая. Ты бы ее снял, что ли.

Сняв довольно непрезентабельную фуражку, Бандерлог устался на холодильник – бывший изнутри против обыкновения не полым – и так настойчиво, что Корнилову пришлось спросить:

– Что это ты там высматриваешь?

Заискивающе улыбнувшись, Бандерлог кивнул хитрым глазом на одиноко стоявший в раковине хрустальный бокал:

– У тебя кефир есть?

– Есть, Бандерлог. У меня и интервью восточного ветра на какой-то кассете записано.

– Тогда... Плеснешь?

А почему бы и нет: помочь страждущему – поступок, содержащий в себе некое подобие божественной прыти, в чем-то безусловно смягчающий уготованную тебе участь.

– Плесну, – сказал Корнилов. – Но только с условием, что ты немедленно удалишься.

Бандерлог враждебно сник:

– Ты хочешь, чтобы я ушел?

– Честно говоря, в хит-параде моих желаний это занимает одно из первых мест.

– Так, значит... А я, между прочим, часто вспоминаю как мы играли в нашем дворе... в футбол... чаще всего в одной команде.

Главенствующий в этом воспоминании приторный либерализм мало что амнистировал.

– А как ты разбил моим мячом стекло котельной, а потом убежал, не вспоминаешь? – Корнилов противоречиво усмехнулся. – А меня там практически придушили.

– Это я по малолетству... Забудь. – Подмигнув Корнилову, как совершивший грубую ошибку старпом загибавшемуся от его глупости капитану, Бандерлог элегантно вступил на ковровую дорожку официального примирения. – Кто старое помянет, тому что вон?

– Просто вон.

– То есть?

– То есть, иди отсюда.

Нанося данной репликой изгоняющий щелчок, Корнилов ничуть не промахнулся, но если Бандерлог и исповедовал какой-либо культ, то жрицей этого культа могла быть только перзрелая дева Непосредственность – облаченная в чрезмерно прозрачное платье и не дававшая ему повода считать ее плохо пахнущей скромницей.

– Не кипятись, Корнилов, – непробиваемо отмахнулся Бандерлог, – следи внимательней за моей речью – я уже перехожу к делу. Пускай твоя кровь подойдет к ушам и там ждет, когда я заговорю... Сегодня у нас в доме культуры будет концерт. Ты любишь концерты?

– Не очень.

– Ну, так вот. На этом концерте мне понадобится твоя помощь.

Ему понадобится моя помощь, ему и моя: пока Корнилов на секунду задумался о том, возможна ли такая ситуация, когда твоя любимая книга «Величие библейской мудрости», а любимый режиссер Тинто Брасс, ему тут, оказывается, уготовили ловлю и приручение его

слонов. Но кое-кому придется за ними еще побегать – и не дай ему Бог, не дай ему Лататели Небесного Свода их догнать.

– А с головой у тебя все в порядке? – спросил Корнилов. – Резиновые гризли со взглядом майора по утрам не обступают?

– Я серьезно. Ничего особенного, Корнилов, от тебя не потребуется – постоишь, за порядком помотришь. В общем, побудешь кем-то вроде дружинника.

Убожество высказанного с беспомощным напором предложения подвигло Корнилова на синдром скучной заинтересованности в событиях, от которых его пока миновало – собирая испорченную тротилом скалу обратно в монолит, особо же не грешишь.

– Я, – сказал Корнилов, – кто-то вроде дружинника, ты кто-то вроде мудаковатого лишенца... А поддержка с воздуха мне полагается?

– С воздуха?

– Твои легавые друзья на дирижаблях, предупреждающие трели и карканья рассеявшихся по деревьям общественных стукачков, фригидные парашютистки с мечами-колдунами. Или хотя бы с кувалдами.

Дожевав яблоко до огрызка, Бандерлог вернул его останки ничуть не подурневшей от образовавшейся на ней проплешины тарелке.

– Поддержка тебе не понадобится, – сказал он. – В нашем районе решительность моей натуры любая шпана знает, а на концерты в этот голимый дом культуры только местные дебилы и ходят. Так что, контингент будет мирным.

– А если не будет?

– Будет, будет... Не волнуйся.

Скривив изначально прямые уголки рта, Корнилов снова задумался —

примитивизм выбранной для раздумий тематики его оскверняюще угнетал, но тот пункт соглашения, где приветливыми интонациями была четко обозначена необходимость его собственного участия в чем-то публичном, воспринимался Корниловым не без жизненной углубленности – мелки и порочны ее заводи, однако выгребать в свободное от суетных буйков море тоже не слишком захватывает. Боевые тормоза, что ли, поставить?...

– И почему эта благодать выпала именно на меня? – спросил Корнилов. – Моего содействия требует сама справедливость?

– Какая еще благодать? – переспросил Бандерлог.

– Стоять до конца на пути людского потока, которому вопреки твоим заверениям почти наверняка найдется в чем проявить свою серость. Сбить с ног Всевышнего им, вероятно, не удастся, он достаточно устойчив, а вот втоптать в пол меня обойдется этим людям недорого – не дороже, чем тебе изводить себя сосредоточенной мастурбацией.

Следуя зарождающемуся в нем пафосу, Бандерлог поспешил соответствующе приосаниться:

– Во-первых, это твой гражданский долг, а во вторых...

– У меня все долги записаны. И такого среди них точно нет.

– ... а во-вторых мне доподлинно известно, что у тебя масса свободного времени.

В хранилище могущественных познаний уже и штукатурка осыпалась, и кровля под птичьими тур-вальсами провисает, но сторож Цецелий – с беспечными витражами «Пилата за работой» в глазах – все не уходит: накапливает душеспасительный стаж. Лукаво так. Закинув ногу на ногу.

– Все-то тебе, Бандерлог, известно... В Вышнем Комитете по связям с общественностью, случайно, не подрабатываешь? – Отключенная по случаю солнечного дня люстра небрежно екнула. – Хотя здесь ты, в принципе, прав... Но почему ты решил, что я буду транжирить свое свободное время непременно на этом концерте?

– А почему бы и нет?

Корнилов с оттяжкой хлопнул ладонью об ладонь. Потом еще. И еще.

– Хорошо сказал, Бандерлог. А если и не хорошо, то какой с тебя спрос. С тебя, как терпящего свой злосчастный удел... Допустим, я соглашусь. На что я могу в этом случае рассчитывать?

Бандерлог насторожился – ему не хотелось терять в своих глазах то, что он давно потерял в чужих.

– А чего тебе нужно? – нервно спросил он.

– Какой-нибудь презент. Войлочные валенки, CD Би-Би-Кинга, порнографическую матрешку.

Заложив на лице вызывающую о сопереживающем разминировании мину, Бандерлог ущербно понурился:

– Никакие презенты бюджетом не предусмотрены... Но если хочешь, я куплю тебя пару пива.

Сказал и восхищается: самому себе и как та исполнительная ткачиха, которой недалекий божок Д-132Р поручил соткать облака и из всех материалов предоставил лишь отборный брезент. «Не подгоняйте, не торопите, от напряжения у меня рассыпается тело; я вся выплескиваюсь в работу; меня восхищает моя непринужденность» – она, конечно, соткала. И когда ее народ изнывал от обрушившейся на него по причине не дохождения осадков убийственной засухи, очень этому удивлялась.

– Насчет пива я тебе, Бандерлог, не верю – сквалыга ты та еще. – Выглянув в частично занавешанное окно, Корнилов от увиденного не побледнел. – Но прийти, пожалуй, приду. Знаешь почему?

– Почему?

– Потому.

– Спасибо, что объяснил... – Теряя в самомнении, Бандерлог приобретал в том, за чем он сюда, собственно говоря, и приходил. – Концерт в семь. Но ты приходи где-то к шести тридцати. Я там часов с шести уже буду.

В вымаливании у себя позволения задать следующий вопрос, Корнилов совершенно не нуждался, но не порадовать уходящего – Бандерлог уже уходит и уходит сейчас же: второго ему не дано – проявлением интереса в его ничтожных познаниях, свидетельствовало бы о нехарактерном для Корнилова пренебрежении к день за днем укрепляющему свои позиции обыкновенному человеку.

– Что за группа? – спросил Корнилов. – Кто выступает?

– Да раздолбай какие-то. Но по имеющимся у меня сведениям, не слишком шумные.

– Кто только, Бандерлог, в тебе не пропадает – и покоряющий свой разум музыковед, и...

– Мне пора. Дай сигарету.

– Ломтик ананаса не желаете?

Но понимая, что без сигареты уход Бандерлога все-таки сумеет отсрочиться, Корнилов нехотя протянул ему пачку «Бонда». «Сегодня какой день? Четверг. А мне казалось пятница. Или понедельник» – взяв сигарету, Бандерлог наконец-то исчез за порогом: «у меня, Корнилов настроение, такое настроение: где-нибудь посидеть, помолчать, поблестеть мордой» – Корнилов возвратился к кровати и включил радио. По его волнам шла некая отечественную песня: о чистой и, как полагается, неразделенной любви. Корнилов ее не слушал – не выключал, но и не слушал. Он думал. Есть ли правда в зеленом чае? Рано ли на мне ставить крест? Я думаю мысль или просто? – в отношении всех этих песен он думал: «Чистая, неразделенная – чего только людям не хватает?...».

Листья трутся об каблук
А огонь об дым

«Ты раскрой объятья рук
Не берись за дрын!»
Он ей тихо прокричал
Но она ждала
От щедрот его начал
Нежные слова.
Но он нежность приберег
До ее седин
«Наконец-то мой черед
Быть твоим одним!
Где все прежние твои
Ухажеры, где?
Я остался, а они
Вздвогнут по тебе!»
И она вязала ночь
Из его клубков
Не распутанных помочь
Им заштопать кров.
Вот звучат трещотки гроз
Дождь и в спальню вхож
Ну, а кто-то холит сброс
Глянцем сытых кож.

Дорогу угнетателям моей гордыни. Осень найдет меня. Сегодня неблагоприятный день для планеты Сатурн. Что с того? Она считается недоброй планетой. Мертвецы готовы вырваться и пожрать – в упомянутом Бандерлогом доме культуры Корнилов бывало бывал: в годы своей всесторонней невинности он туда где-то даже частил и целью посещений – они состоялись дважды и казались его нынешним ощущениям реальности одинаково лишними – как правило, являлись многочисленные кружки, располагавшиеся на втором и последнем этаже этого двухэтажного здания. Несмотря на все его рвение приобрести в неистовстве кружков хотя бы примерные координаты вечного, лучом Света его там не обогрело, и Корнилова это абсолютно не задевало – повальное перемножение минуса на минус что-нибудь, да сплюсует.

– *Бросайте в меня копьё, ещё раз бросайте – по силе нормально, добавьте траектории и оно воткнется мне прямо в грудь...*

– *Ты это к чему?*

– *Поражаюсь я вам, барин, как мормон первой дозе поражаюсь. Чего вы тут забыли?*

– *Ничего не забыл – все как есть, помню.*

– *А приходится-то зачем? Дома разве хуже помнится?*

– *Не хуже – даже лучше, чем не хуже. А почему все-таки пришел... Так, развеяться.*

– *Ну, понятно. Развеивайтесь сами, а потом ваш прах развеют над страной нечистот, над полями фильтрации.*

– *Не сегодня.*

– *Хорошее предчувствие?*

– *Приблизительно.*

Для начала Корнилов индифферентно поздоровался с вахтершей – у него не было никакого желания когда-нибудь предстать перед ней с членом наголо.

– *Добрый вечер, – сказал Корнилов. – Сейчас уже вечер?*

– *Да уж не утро...*

– Концерт еще не начался?

Навеки, и не без страданий покинув возраст сексуальной заинтригованности, она уже могла не скрывать своего раздражения от улыбающихся пилигримов нещадно кинувшего ее мира.

– Ты, парень, – проворчала она, – вокруг да около не гуляй и на халяву не рассчитывай. Билеты в кассе.

Выразив кивком и рукой на сердце благодарность за информацию, Корнилов неспешно поднялся на второй этаж. Он подчинялся еще не выплеснутым воспоминаниям: вот за этой разрисованной роботами дверью была изостудия, а вот за этой... что же было за этой...

– Не знаю... – бездейственно пробормотал Корнилов у этой двери, – не знаю того, не помню ли я об этом или не знаю...

Из-за таинственной двери высунулась симпатичная женская голова.

– Вы кого-нибудь ищите? – спросила она.

Чувствуя, что ему не мешало бы ответить, Корнилов эпически подчинился изучавшему его чувству – его чувству, пока не ее.

– А здесь, – сказал Корнилов, – кто-нибудь есть?

– Честно говоря, не очень, – улыбнулась она. – А вы не хотите поиграть на трубе?

Если она собиралась подловить Корнилова на резкой смене темы, ей это не удалось.

– Играть на трубе я не умею, – сказал Корнилов, – но бессвязно подудеть меня иногда заворачивает. – Внезапно он чуть-чуть засомневался. – А почему на трубе, а не... на ложках, к примеру?

– Труба вас чем-то не устраивает?

Как же безотказно ее непонимание – вероятно, она никогда не помышляла убежать по распаханной сельве от так и не вставших с кровати преследователей. Но и на благодарно Никакую, вроде бы, не похожа.

– Милая девушка, – сухо сказал Корнилов, – если бы я отказывался от всего того, что меня не устраивает, я бы уже давно висел в каком-нибудь тихом палисаднике.

Задумчиво опустив голову, она полагала, что поняла основания его крутого разворота у ощерившегося бездонностью омута.

– Крепкая у вас позиция... – протяжно протянула она. – Дудеть-то не передумали?

– После всего мною сказанного это было бы неэтично.

– Неэтично по отношению к чему?

– По отношению ко всему сказанному. – Корнилову уже надоело вести разговоры снаружи. – И где же мне надлежит перед вами блеснуть?

– Передо мной и блесните.

Расценивая ее жест – приглашающий вовнутрь поворот головы – как безжалостно завлекающий, Корнилов, будучи уже в комнате, удосужился добиться у нее небольшого уточнения.

– А вы, – спросил он, – всем предлагаете?

– Договаривайте, пожалуйста.

Прокашлявшись, Корнилов договорил:

– На трубе поиграть.

– Нет, не всем.

– Спасибо за комплимент.

– Пожалуйста.

Затянувшая Корнилова обстановка подгоняла его настроение попутными ветрами очарования, и если здесь и намечалась определенная подстава, все это смотрелось искусительно свежим – доверительно раздувая щеки, Корнилов никак не мог припомнить когда же он дудел в трубу с таким воодушевлением. Не мог, потому что дудел в нее впервые: «Давлю, выкладываюсь, *miserere mei, Deus*; соленый хлеб, изматывающий» – девушка даже попробовала ему

подпевать, и хотя их дуэт мало дотягивал до консерваторских канонов, полное отсутствие зрителей предоставляло им небывалую степень свободы – горе, о, нам горе, какое еще горе, если только горе смыслу; Корнилов помнит, как жившая с ним в старших классах Елена «Помадка» Кузнецова говорила ему: «Ты думаешь только о себе – что же, я тебя понимаю, но нельзя же думать исключительно о себе: никак нельзя» – делая погромче блистательно трубившего в его квартире по ночам Майлза Дэвиса, Корнилов улыбался Елене одними руками: «Можно. Когда обо мне будет кому подумать, я буду думать и о других. Но пока обо мне думать некому. Приходится самому»

Закончив свою абсолютно неповторимую импровизацию, Корнилов брутально улыбнулся и, отразившись на корпусе инструмента белизной коренных зубов, неожиданно вспомнил, зачем же он здесь оказался – не в этой комнате, а в этом здании.

– Сколько времени? – спросил он.

– Без пяти семь, – ответила она. – Вы куда-то торопитесь?

– Да не то чтобы... У вас тут концерты часто проводятся?

Закапав в глаза толику надменного превосходства – словно бы вблизи нее не Корнилов, а измученный кознями женской уступчивости царь Итаки, защищавшийся от магнитящих его прелестей привязыванием себя к мачте и заливанием воском ничего больше не желающих слышать ушей – девушка не удержалась от поверхностной колкости:

– Хотите поучаствовать?

Примерно такого выпада Корнилов и ожидал. Она женщина, он мужчина – ей хочется и жить, и жить с кем-нибудь, а для него и то, и другое уже не во всем приоритетно.

– Поучаствовать в концерте? – негромко уточнил Корнилов. – Выйти к людям и выступить тем заикающимся боксером, который убежденно сказал, что предыдущие четырнадцать поражений были чистой случайностью? Вариант... Вы думаете у меня получится?

– Я, к сожалению, думаю совсем не часто.

– К сожалению для кого?

– Вполне возможно, что и для вас.

– Вы меня недооцениваете.

Теряясь от недостатка козырей, девушка полезла в рукав.

– Серьезно? – спросила она.

– Нет.

Тут ей уже пришлось покориться, но, делая акцент на обыденность, она стремительно обрела свою прежнюю миловидность:

– А зачем вы спросили про концерты?

– Хотел уточнить одну деталь. Как там у них с уровнем беспорядков? – Во избежание смертного греха Корнилов отложил трубу подальше. – Сразу оговорюсь, что участвовать в них я не претендую.

– По-моему... Я особо не интересовалась, но если бы на них произошли какие-нибудь эксцессы, я бы знала.

«Поедем, деточка, на природу. Ты и я, куколка и Корнилов: поедем земляники, покормим пчел, уединимся в свинарнике – Корнилов достал из внутренних карманов разума остатки незадохнувшейся там линейной логики и принялся туманно анализировать: итак, на концертах все спокойно, и это без малейшего его участия, и вполне может быть, что именно его участие, оно же присутствие, все и испортит – следовательно, из соображений общественной выгоды, ему там просто необходимо не появляться.

Повторно проверив на прочность незамысловатую логическую цепь,

Корнилов удовлетворенно успокоился:

– Вы скоро заканчиваете?

– В принципе, я уже закончила. Предлагаете что-нибудь начать?

– Уже.

Когда они спустились вниз, их там никто не встретил. Они встретили целую прорву одетой преимущественно в черное молодежи, а их никто: бесчувственные палки скачут на плохо настроенных барабанах; потрясающе... я живу... потрясающе живешь? Ты? Я сказал: «Потрясающе. Я живу»; где моя жизнь, где не моя, русские нередко умирают со стаканом в руке; ребенок с дрожью говорит: «Слава Богу», ему одобрительно отвечают: «Да что я – тебе слава». И ребенок дышит. Не тяжело. Он дышит глубоко – глубоко, глубоко: готовясь к чему-то тяжелому.

«Ломать протянутую руку
Мне ни пристало даже вам», —
Он говорил неспешно другу

Сливая кровь его в стакан

И выжидая, когда гром
Объявит тост за них двоих —
Живого, пившего с трудом
Ну и другого, кто затих
Не веря в лучшую судьбу
Свою, чужую – все одно...
Ему ли корчится в миру
В глазах построив Шапито?

Выйдя во владения угнетающей своей людностью улицы, Корнилов обнаружил там дождь – практически одновременно дождь обнаружил его, но Корнилов был не один: с ним не двигалась с места его новая спутница, а с ней, успевшей навести порядок в оценке своих способностей рулить, покорно соседствовал ее широкий зонт.

Устроившись так, чтобы капли не попадали ему в рот, Корнилов приготовился говорить – он не завешивал висящий у него дома маленький штурвал со встроенным в него зеркалом не из-за траура, не из-за того, чтобы не видеть свой рожи; Корнилов не думал, о чем он будет с ней говорить: «Я выросла на Гребенщикове. А вы? Я? На супе с клецками» – эта девушка, аристократка, обезьянка сейчас с ним; ослабит ли она его ремень на выходе из чебуречной пока не известно, но от молчания она избавилась еще быстрее:

– Погода несколько сужает перспективы... Что скажете?

– Что-нибудь скажу. – Проникнув мыслью за плетеную использованными жилами ограду священных рощ, Корнилов моментально одернул себя ее возвращением. – Давайте угостим друг друга вином. Вы меня белым, а я вас тем, что покраснее.

Девушка улыбнулась, повела плечами; она придвинула Корнилова еще глубже под зонт:

– Давайте наоборот.

Понимая ее намерения, Корнилов не отодвинулся:

– You say you wanna revolution...

– Чего?

– Ничего.

И дождь, как-то противоестественно вдруг и, скорее всего, от недоумения, принялся отступать и прекращаться – когда ты встанешь, там тебя уже ждут, но ты идешь, ты продаешься; и тебя ничто – тебя даже фальстарт не остановит.

Спустя несколько дней Корнилов бесцельно прогуливался во дворе: светило домашнее солнце, и вернувшиеся с юга птицы – в родных краях хорошо, в насиженных местах без перебоев отпускают прохладу – уныло напевали заученные в чужих странах мотивы. Но появление Бандерлога сделало уверенную попытку разрушить всю эту идиллию: вид у него был явно не с обложки – не учитывая издаваемого для внутреннего пользования вестника ФБР с четкими фотоснимками перепуганных инопланетян, мечтающих позабыть об увиденном на Земле и поскорее улететь восвояси – заметив рационально праздного Корнилова, Бандерлог зашагал прямо к нему. Угрожающе шмыгая носом и выражая суровую неприветливость нагнетающе-агрессивным прихрамыванием:

– Корнилов! Гад! Куда ты тогда пропал?!

– Тсс... Не говори никому.

– Не говори, говоришь?! А меня там чуть хулиганы не убили!

Корнилов уважительно изогнул брови – начиная жить, он уже видел серьезные плюсы в скорой смерти.

– Поздравляю, – сказал Корнилов.

– С чем ты меня поздравляешь?!

– С запоминающейся судьбой. Если тебе угодно, конечно. Когда в следующий раз дежурим?

– Иди ты...

На этом они и расстались: при литургии, как и прежде, прислуживают ангелы; что там? опять она? бездна? все движется к своему концу; усиливающееся замешательство, стреляющие кончики пальцев, скорый отказ мотора – поневоле отвлеченные эмоциональной беседой птицы покрутили крыльями у виска: «бывают же столь неуравновешенные люди», и безыскусно продолжили свое благотворительное выступление – *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*. Наше время уже на многих поставило крест. Времени ничего не подскажешь.

5

Переезжая из-за участвовавших осложнений в реализации «хотя бы питаться» на новую квартиру, Корнилов ощущал себя поступающим единственно верно. Каким-то особым стяжателем перемен он не был, но, смотря в окно сыт не будешь, и так как мысль о поисках очередной работы вызвала в Корнилове вполне закономерное отторжение, маневрировать от ведомых Голодом солдат удачи Легко Забывающего обо всех Завтра становилось ему невыносимо тяжело.

«Печаль и спутанность мыслей я выражу взглядом. Сейчас. Выражу. У меня получается? Если нет, кивни. Не киваешь... понятно...» – за исключением одной мелочи, переезд прошел довольно гладко. Неприятность состояла в том, что когда Корнилов выходил на связь с агентством – лично вклеивать свое объявление в череду таких важных, как «Разъедусь с родителями. Куда угодно» или «Сдаю позиции. Срочно» казалось ему неприемлемым – он немного предрекал себе занятие его делами по-женственному приятной особой. На записную красавицу он не претендовал, Боже упаси – тут у него ни прав, ни обязанностей, призрачно нивелирующих нехватку оных, но то, что ему прислали, выглядело удручающе. Присланным был мужчина. Корнилов не имел ничего против мужчин, на пару с Клинтон Иствудом он бы с удовольствием погонял по прерии никогда не избегающих своей участи подонков, но этот перверсивно надутый голубок буквально оскорблял его эстетический вкус: «я живу им, им, водой и хлебом, недоедание... своелико... нерассуждающие... общепользны... мне хватает тонкости миропонимания, я настолько выдвигаюсь в последний раз; дерево, склонившись, думает о смерти, пьяный на велосипеде – сними мохнатую шубу, ты же не мохнатый, ты бледный и тощий»; прошлой ночью под балконом Корнилова кто-то полчаса орал: «Не ори на меня!» – помимо этого крика, Корнилов ничего не слышал; без учета срывающегося голоса господствовала только тишина, но в те минуты недоумение Корнилова было гораздо менее продуктивным, чем сейчас – ведь вдобавок ко всему, присланный мужчина начал выделять очень странные вещи: смотрит, смотрит да и подмигнет. От нервов, наверное. Или еще от чего. Но дело есть дело, кушать хотелось все сильнее и, подмигнув ему в ответ, Корнилов стартовал:

– У меня две комнаты. Большие. В хорошем районе. Я хочу одну. Район значения не имеет. Это можно организовать по-быстрому?

Мягко улыбнувшись, человек из агентства провел большим пальцем правой руки по пухлым губам.

– Для хорошего клиента, – сказал он, – все можно.

– А для плохого, но с хорошей квартирой?

– Это не так интересно.

Неужели он не понимает, что будь он даже прораб на строительстве Творения, сверхурочные ему здесь не обломятся?

– Это возможно или нет? – нелестно спросил Корнилов. – Главное быстро.

– Куда нам спешить?

Направленность из разговора Корнилову уже приедалась – понемногу, но все отчетливее и отчетливее.

– Вы, – сказал Корнилов, – вряд ли напоминаете кому-нибудь Клинта Иствуда, по поводу которого красивая женщина Марина призналась вашему нынешнему собеседнику: «Мне больше нравятся его старые фильмы. Поскольку в своих старых фильмах он молодой, а в новых старый». Я ей не возражал, но если бы даже возразил, я бы никогда не опустился до того, чтобы возражать ей ребром ладони в кадык – у женщин, насколько я помню, кадыка нет, у вас тоже, но вам все-таки придется или помочь мне с перездом или немедленно уйти. Я ясно выражаюсь?

Осуждающе покачивая головой, Александр Духарин чуть было не поперхнулся гулким прокашливанием:

– Грубые слова говорите – вы еще так молоды, а уже ничем не обусловлено считаете, что давно и во всем определились в своих желаниях. А если ошибаетесь?

– Дверь там.

– Ладно, ладно... Так что вам нужно?

И они наконец-то занялись переездом – Корнилов сидел с Александром Духариным в разных углах комнаты, но на всем протяжении их тогдашней беседы он так и не смог разжать самопроизвольно сжавшиеся кулаки. Сколько ни уговаривал себя относиться к ситуации с привычным ему хладнокровием.

После недолгих розысков подходящий вариант оказался найденным, и уже послезавтра – дотянул он до него: в Стиксе только ноги помыл – мизинец Корнилова неамплитудно помахивал связкой ключей от выделенного ему помпезным отмиранием социальных приоритетов убежища.

Gimme shelter – я устал.

Лишь семерки.

Ну, ты сдал...

Нависавших над готическими скамейками аркад квартира Корнилову не предоставила: стол, стул, да грусть, однако ее окрестности, подъезд и одиноко работающий лифт – второй тоже временами работал, но продолжая пребывать в том же положении, что и не работая: без пола – навесили Корнилову несложную мелодию исполняемой под баян частушки о мерзости запустения, распространяющейся по подлунному миру на китах человеческих. Как там вещал сокол Чиль: «Люди покрыли землю на три дня полета! Может и больше, но мне уже надоело высматривать свободное от них место. Бесполезно это!». Окопавшись в этом зловещем своей обособленностью пристанище – ко всему, еще и звонок не исправен – Корнилов решил освежить пока еще не отобранную у него жизнь душераздирающим отказом от соприкосновений с женщинами под алкоголем. Укрепившейся за последние семь лет культ «Просто выпить – хорошо и просто» был развенчан Корниловым провозглашением невнятной доктрины «Живу один, не пью и зрею», и, стараясь откреститься от «It`s just that demon life has got me in it s sway», он неоднозначно выдохнул:

– Хрен бы...

Приобретенная накануне независимость от братства «Внешнего духа» надсадно прервалась телефоном – лучше бы Александр Белл не отвлекался от учительства глухих детей

и не шастал со своей системой «видимой речи» по коктейльным заседаниям бостонского истеблишмента.

Корнилов взял трубку.

– Алло, – нехотя пробормотал он.

– Привет, цыпленочек!

Звонили не ему. Это уже хорошо.

– Привет, курочка, – сказал Корнилов.

– Курочка? Ты никогда не звал меня курочкой.

– За это я должен перед собой извиниться – как и в том случае, когда пошел дождь и я встал под дерево. Его крона защищала меня от воды, но потом дождь кончился, вместо него подул ветер, а я о чем-то задумался и из-под дерева не вышел, не успел. Вот меня и окатило – всей той водой, что не доходила до меня во время дождя. Дождь идет – я сухой. Он кончился – я вымок. После его окончания, но насквозь. А как я тебя звал?

– Ты звал меня Секси.

Похоже, полная дура – если бы вокруг него остались только такие женщины, Корнилову было бы нечего делать в своем теле.

– Привет, Секси.

– Таким ты мне нравишься... Хотя, говоря таким, я бы не смогла объяснить каким именно. Думаешь обо мне?

Ну, не кричать же ей: «Мне нравится тебе нравиться!». Но и откровенность тратить на нее не пристало.

– Всегда, – твердо сказал Корнилов. – Даже спирт разбавить некогда – выпью алюминиевую кружку и пятнадцать минут потом не дышу, думая и помышляя лишь о тебе.

– Туз ты мой... Тебе ведь приятно, когда я так тебя называю? Ну сознайся, ведь приятно?

А леди пусть тушат сигареты в молоке...

– Откуда информация? – спросил Корнилов.

– Как это откуда? – поразились она. – Ты же сам говорил: «Бога нет, потому что его никогда и не было, а ты зови меня Тузом».

До него здесь жил дебил. И это факт, даже делая скидку на то, что он мог не знать сленга некоторой части блатных, называющих «тузом» анальное отверстие.

– Понятное дело, говорил... – негромко протянул Корнилов. – Как лошади? Как жизнь?

– Как лошади не знаю... не знаю и того, зачем ты об спросил, а жизнь все продолжается – работа, однообразное общение с сослуживцами, вечеринки. Но мне очень не хватает наших игр.

Догадываюсь – не иначе, как что-нибудь вроде смертельных схваток между тщедушными богоборцами и накаченными анаболическими облатками бого-Борцами.

– Так поиграй в них с кем-нибудь еще, – довольно искренне посоветовал Корнилов.

– Все не так просто – здесь любой не подойдет. Меня ведь возбуждают только мужчины в железе.

– Каторжники, что ли?

– Причем тут каторжники? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю... Твои причины-то не заржавели?

Сейчас это еще не всё, но, по собственной милости забиваясь в угол, Корнилов пренебрежительно забивал на искушение быть в центре.

– Не беспокойся, – сказал он, – они у меня из нержавеющей стали.

Голос в трубке понимающе захихикал:

– Я не о том... Как там твои доспехи?

– Какие доспехи?

– Ну, те... Для секса.

Ее шипящее пришептывание вызвало у Корнилова поллюцию сознания, незамедлительно выразившуюся в воспоминании жутковатого апокрифа, касающегося случая кастрации Сатурном своего отца Юпитера, а затем и наоборот. Также он припомнил и случая из его личной жизни, когда разделявший с ним двух женщин Сергей «Чандр» Ильюшин пришел с кухни и хмуро сказал: «Ты, Корнилов, можешь продолжать их ласкать, а я уже не могу – языком подавился».

Корнилов отвлекся от женщин, уточнив у него: «Своим языком?».

Беззлобный этнолог Сергей схватился за изголовье кровати и, едва не упав, еле слышно выдал: «Телячьим...».

– Ах, те, – возвращаясь к общению с недалекой дамой, воскликнул Корнилов, – те, которые, как я понимаю, для секса и для причинения друг другу обоюдной радости. Они?

– Да!

– Я сдал их в металлолом.

– Как?!

– Деньги были нужны.

– А как же я?! Ты обо мне подумал?

«Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами» – однако хоть в Почайне их крести, хоть в принадлежащем могущественному «Угодники и компания» аквапарке, все одно не поможет: от зычного себялюбия и покойника не избавишь.

– Именно о тебе, – сказал Корнилов, – я и подумал. Хороший психиатр сейчас не дешево стоит, а тебя, Секси, наставить на путь истинный способна лишь экстренная психиатрическая помощь. Так что, лишние деньги не помешают.

– Какой, твою мать, психиатр?! – озлобленно прокричала она. – Ты что издеваешься? Да брось ты, зачем?

– Все, моя милая Секси, – усмехнулся Корнилов, – я сдаюсь. Ты меня слушаешь?

– Слушаю.

– А зря.

– Что зря?

– Зря ты меня слушаешь.

Она возопила, она заорала: ей худо, что разум на грани обвала.

– Ты же сам сказал, – прокричала Секси, – чтобы я тебя слушала!

А вот с воображением, барышня, надо бы поосторожнее, посдержанней – не то получится, как с охотником Тихоном Ряжским, принявшим катавшегося от злости лешего за рожавшую дочь своего кума лесника.

– Я не сказал, – пояснил Корнилов. – Я спросил.

– Что спросил?

– Уже не важно... Бывай. Счастья тебе.

Повесил трубку, Корнилов стал ждать повторного звонка, но его не последовало: у небольшого числа африканских народов адюльтер одного из супругов приводил к рабству обоих – ты согрешила, я пострадал; ты кормила детей, я ошивался в соседней землянке с пышной звездочеткой; ты... я... нам обоим... я, ты, вместе, до конца... в беде и радости – полгода назад Корнилов встретил на Маросейке сильно кровоточащего бизнесмена Олега Алутина. Умолявшего своих коллег не запирать его в тесной комнате со стулом и веревкой: Корнилов перевязывал ему голову и без того надорванным рукавом его пиджака; Олег Алутин заливал своей кровью сухой асфальт – ведя себя с вызывающей апатией.

У меня с моей женой, – говорил Олег, – были и праздники: для нее будни, но для меня – то праздники. Грех жаловаться! У нее просматривался ко мне интерес, и я его поощрял! Но затем многое пошло на слом – не во мне и, вероятно, не в ней, но она стала все лучше и лучше разучивать до крайности неприемлемый для меня мотив. У меня из-за нее и рог вырос.

Изменяла? – прозорливо спросил Корнилов.

Бывало... Но сейчас, как ты видишь, рога у меня нет – его мне поклонники моей жены обратно в голову бейсбольными битами забили, чтобы я не очень расстраивался. Сердобольные ребята попались.

За стеной ее кто-то бурил – ее саму и скорее всего, прорываясь в будущее. Еще не хватало, чтобы из пролома высунулась присыпанная каменной крошкой физиономия и, не забыв отряхнуться, конспиративно сказала: «Здравствуй, жучила – слыхал обо мне?». Корнилов бы устало вздохнул, с сочувствием покачал головой: «Скучно живешь, Монте-Кристо – как был ты по разуму простым моряком, так и помрешь им. А не утомонишься, то и до юнги понизят». Но юнги же не читатели Юнга; до метаморфоз и символов либидо им и дела быть не должно – познакомятся с портовой шлюхой, развеют стеснение доброй половиной квартиры кубинского рома, и вот уже ее опытное тело обучает их несложным премудростям. Вдалеке от убогой мерзости книжников.

Изогнувшись в пополамном наклоне, Корнилов заглянул под тахту – вполне вероятно, что именно здесь его предшественник держал свои доспехи. Слегка не рыцарские. Странное место эта наша земля – чего на ней только нет. И любви нет, и радости от ее отсутствия нет, и много чего еще нет и не предвидится. Но вот еда иногда попадает. Доставаясь тому, кто удостоился не быть ею. А кому не повезло, тому достаточно и спасибо – мишка-шатун, медведь-импотент; Троцкий назвал бы его «мещанской сволочью»; усыпанный гноящимися веснушками послушник с таким остервенением брякался на молитву, что дьякону Григорию приходилось его осаживать: «Ты бы колени-то пожалел».

«Колени?!»

«Ну».

«Пожалел?!»

«Ну».

«Да я же, дяденька, в наколенниках!»

Кодля пьяных мудаков
Деву окружила
Но она – ведь ниндзя дочь —
Всех перекрушила
И сказала: «Папа мой
Счастье, что не видел
Как я вам чинила боль
А не то б обидел
Он словами: «Боже, дочь,
На хрена с простыми
Применила силу чар
Против бедных ими?»
Я бы сделала книксен
И ушла понуро.
Оставляя вас в живых
Яко полна дура».

Разогрел воду до кипятка, Корнилов залил ею лапшу «Доширак» – наверное, ее очень любил президент Франции. Разумеется, до того, как стал президентом. Поэтому она и называется «До-Ширак». А после своего избрания он начал любить спинку зайца «а-ля руаяль», лангустины с луком-пореем, террин из лосося со шпинатом – ну, любит и любит. Лишь бы посо-

бие марокканским джанкам не задерживал – просидев без слезинки мрачайшую драму, как-то глупо рыдать над ее пародией. Да и порадовать себя лапшой не каждому достижимо. Где-нибудь в племенах она бы оживленно пошла изысканным гарниром под человечину. В племенах, вообще, не очень – младенец открывает глаза, впервые смотрит на наш мир и вдруг видит огромное черное лицо с кольцом в носу. И два движущихся к нему пальца «Утю-тю...». А вокруг змеи и лихорадка. Но этот вертеп недолго вынашивать ему в голове; за уродливость родившегося из нее плода с него даже не спросишь – отдыхая от травли водяных козлов, он, конечно же, может и помечтать, но его мечты поимкой водяного козла и ограничатся. Ну, если только кабана-бородавочника зацепят.

Определив для себя опоры дальнейшего времяпрепровождения: никаких женщин – это раз, никакого алкоголя – это еще раз, Корнилов пока еще не знал, что же протянуть между ними: держась в стороне от повторов, он решил попробовать что-нибудь неизведанное. Подойдя к облагороженной светлыми обоями стене, составлявшей прямой угол с подвергаемой бурению, Корнилов повел бесконтактно агрессивный бой с тенью. Наскакивал, не паниковал, интенсивно работал на отходах; слышит, сердце обвинительно зудит: «Охренел, да? Или думаешь, я от воодушевления так стучу? Идиот...». Корнилову тоже захотелось крикнуть ему какую-нибудь гадость, что-то вроде «Само дура!», но переругиваться еще и с сердцем представлялось чрезмерно обременительным. И без него есть с кем. Ну, кто бы сомневался.

– *Жизни у вас, барин, невпроворот, но вы в ней словно бы и не нуждаетесь. Не досадно?*

– *Ты по поводу невпроворот?*

– *Только не говорите, что гуляя по кладбищу, вы завидуете усопшим. Это было бы несо-размерно вашему имиджу.*

– *Моему имиджу в глазах кого?*

– *В глазах себя. Зависть одно из немногих, чем вы обделены неоднозначной по вашу голову природой. Застигнув вас при попытке завидовать...*

– *Да не завидую я никому, довольно чушь-то молоть.*

– *Никому?*

– *Ни на небе, ни на земле.*

– *Что же, допускаю... А себе?*

– *Себе еще меньше.*

– *Еще меньше, чем нет?*

– *Какому нет?*

– *Поясняю. На вопрос «Завидуете ли вы им?» вы ответили: «Нет», а на вопрос «Завидуете ли себе?», сказали: «Еще меньше, чем им», чей смысловой близнец «Еще меньше, чем нет» вас не...*

– *Сгинь!*

Созерцательно раскрепощаясь – несохранившейся фреской Полигнота под ковшом экскаватора Геометра фантазий, заматающего своими следами все остальные – Корнилов открыл ящик комода: в нем валялась расческа без зубьев, несколько пожелтевших от невнимания листов, обкусанный карандаш, и Корнилов подумал, не приступить ли ему к написанию некоего сюрреалистического манифеста. Спать же еще рано. Да теперь уже и не с кем – Корнилов абсолютно не умел рисовать, и поэтому истощающе экзистенциальный вопрос «Что рисовать?» не замаячил перед ним даже в дымке: светотени давно задуманного шедевра «Кого не ждали больше всех» ни за что бы не открылись ему только за счет его желания. Вот тебе час на раздумья, вот тебе еще день на жизнь, юные девы орут в темноте: их не насилуют. Сталкивают с ледяной горки. Что я делаю изо всех сил? Сморкаюсь. Моя дорога вьется по змеиным норам, пьяная милиция крутит трезвого обывателя, птица Гамаюн выклеывает для гнезда чью-то бороду – попробовав изобразить прямую линию, Корнилов отодвинул листок на приличное расстояние и, оценивая достоинства не слишком-то удавшегося произведения, если

и поддавался поглаживанию эйфорией, то не везде. Линия была явно кривовата. Вернее, крива до отвращения – по-видимому, для новообращенного в таинства живописи прямые линии не самое подходящее направление. Будем рисовать коня. Голова, грива, тушка. Грива ничего получилась. Получше головы. Но на французский поцелуй с бессмертием все равно не тянет – такую картину надо вывешивать лицом вовнутрь. А что, оригинальный демонтаж традиций, день проходит не впустую – еще бы пивка. Зачастую приемлемого, чтобы спустить алкоголизм на тормозах. Но никаких послаблений. Хочешь пить – выпей воды, хочешь женщину – следи за тенью. Хочешь и то, и то вкупе – поразмышляй о междоусобицах в правящей династии Времени. И о неотступно приближающемся Time to say goodbye – время же единственная жидкость в жилах Дьявола, оно свое дело знает: сейчас кто-нибудь бежит, разбивает шиповки, темпераментно перепрыгивает через барьеры потревоженным гоном сайгаком, не помышляет ни о чем плохом или херовом – на горизонте уже заметен финиш; за ним блестящая медаль, выстраданная слава и упругие бедра обходящихся без предварительных ласк малышей... батончиков... и тут, откуда-то из-за угла, голос: «Ты не очень-то нагнетай. Это шутка была. Нет там всего этого. Сейчас нет – имелось, но двадцать три года назад, для богоизбранного эфиопа...». Бегун выскакивает из себя, орет, скандалит: «Как это нет?! А какого я так напрягался?». Повернувшись к нему задом, время хладнокровно прыскает: «Ты все же преждевременно не отчаивайся, там другое есть. Впрочем, отчаивайся – другое-то для других». Однако же, врет: там и для других не зарезервировано шезлонга с видом на кущи. Главное ли участие? Воистину не уверен – подготовиться и интриговать до победы будет к себе по-милосерднее. Правда, даже самая идеальная подготовка ничего не гарантирует. Если только избавит от самобичевания – мол, сделал все, что мог и не моя вина, что не смог. Сожаления не принимаются – ни от тебя... ни от кого... Корнилову уже опостылело его продолжительное отлучение от кровати и он неумоимо прилег, попав под трамвай недодуманных мыслей и эклектичных пейзажей увиденного – нельзя же сразу обниматься лечь!... то ли женщина, то ли хрю... человек маленького духовного роста... украшай себя изнутри... «Сигарету? – Я ничего твоего в рот не возьму!»... чтобы не раздражало памятью о хорошем... млею на твоём пузике... «А бар в номере есть? – И бар есть, и бармен при баре есть...»... я отталкиваю твои руки, но не отталкиваю ожидание тебя... эпатировать-импотировать... мне больше нравится представлять, чем добиваться... что лежит под рукой, мы ногой не оттолкнем... непохмеленное сердце... гребни, Ной, уходим!...

Прошло минут десять. Куда прошло, не понятно. Вероятно, куда надо. Кому надо? Для кого в окопе выросла сакура? Кто уводит меня в волчью тундру? Корнилов почувствовал, что его глаза амбициозно закрываются.

Удачи...

Пуленепробиваемая колесница неслась по огненной пустыне. На ее просмоленных железных бортах языки пламени сочетались законным браком и, при переключении передач обменивались обручальными кольцами. Скулили гризлики, разбежались мымкуны. Рвал волосы Сатанаил Хохмач. Во все встречные уши ветер вдувал благостную весть: «Они ушли! Он и она, вдвоем! Им это удалось!». Погоня их уже не достанет.

«Теперь ты счастлива, родная?»

«Да. И все благодаря тебе, милый. Ты настоящий воин».

«Все, что я сделал, я сделал для тебя. Я..».

Бум! Бум!

«Что это за стук, любимая? Что за лажа?»

«Это стук из реального мира. Из твоего – кому-то нужна твоя помощь. Я не смею тебя задерживать. Страшный грех сие потому что... Прощай, боровичок».

Бум! Бум! Люди, люди – это, наверное, люди. Гады, герои, венцы мироздания -пошаты- ваясь от объективного раздражения, Корнилов пошел открывать.

«Я иду, ползу, спуртую – жаль не пройдет такое, что ты ко мне, я к тебе. Ты ко мне, а меня уже нет» – открыв, Корнилов увидел невысокого старика. Старик, как старик. В ночной рубашке. Посмотревший на Корнилова снизу-вверх, немного помедливший и спросивший:

– У вас есть Тибетская книга мертвых?

Он вопрошает четко, без заимствования специфичного акцента немых, но тут бы захлопали глазами и восковые изображения многочисленных Людовигов, подкармливаемые дворней в течение сорока дней после смерти.

– Какая книга? – переспросил Корнилов.

– Тибетская книга мертвых. Бардо Тхедол.

– Даже так?... Мне приходилось говорить на Земляном валу с одним бездомным увальнем, и он сказал мне: «У нормальных людей есть очень много ценных вещей, но им хотелось бы иметь их еще больше, а у меня нет ничего, но мне и этого достаточно». И когда я назвал его умным человеком, он, недолго думая, ответил: «Да нет, скорее я идиот...». А вы, дедушка, что – из дурдома сбежали? Идите с миром, я вас не выдам.

Корнилов попытался захлопнуть дверь, но старик, оказавшийся на удивление резким, этому воспрепятствовал – ногой. Поставил ее на пути, повелевающе перекрыв сам путь – облить бы его кипятком, разгладить бы лоб утюгом, но Корнилову пока неприятно нагревать его загадочное существо до полного расцвета странности: говори, говори, старик – попрекай меня за ниспосланное тебе безразличие.

– Вы читали эту книгу?

– Я, – ответил Корнилов, – много чего читал. И записанные на ладони телефоны случайных женщин, и крылатые слова идущих на гильотину, и Николая Гумилева...

– А эту?

Взмахнув для острастки вымышленными хоругвями, Корнилов нехотя нырнул в воспоминания. Вода в этих заводах была мутной и стойко отдавала плесенью. Итак, поищем – не то, не то, какая-то бегущая за поездом смуглая женщина, ее умоляющие крики: «Вернись, Корнилов, вернись, дружочек!»; гвоздь в голове вулканолога-самоубийцы; австралийская народная песня «You shook me all night long», аутентично обрамляющая эскапады постельного ринга... Стоп, кажется, приехали – эзотерика сорока девяти дней Бардо, перенос принципа сознания, вторичный Ясный Свет, мирные и гневные божества, мероприятия по защите от духов-мучителей, основополагающие стихи о шести...

– Способ, удерживающий от вхождения в лоно, первый способ закрытия входа в него... Читал.

– Вам понравилось? – спросил старик.

– Не помню. Нет, наверное.

– Почему нет?!

Почему, отчего; «мой отец хотел дочь – мой не хотел никого»; я ору, ты прислушивайся – тон у него, как у вопиющего на «supollone» собора Святого Петра разносчика пиццы Дзавонни, в который уже раз приговоренного к неуплате своей доставки: «Платите! мой карман уже не выдерживает вашего бремени!»

«Какое же это бремя – так побасенки. Что тут у нас?... Как, опять «Капричоза»?! Мы же заказывали у тебя «Дольче Пиканте!»

«Скажите спасибо, что не „Маргарита“. У вас и на нее денег нет»

«А Дольче Пиканте?»

«Дольче Пиканте пускай вам покупает дон Гамбино. Он человек серьезный – взамен оказания ему услуги по вхождению в Эдем с черного хода, всегда не откажет».

«Нахал!»

«Дармоеды».

– Но, – недоумевающе сказал старик, – если вы не помните, вы ведь не можете быть уверены, что она вам не понравилась?

– Если бы понравилось, я бы помнил.

– Но ведь это же главная книга!

– Ну, и что с того?

Старик уже напрягал Корнилова своей дремучей заикленностью: ну, вознамерилось тебе растить в себе голову; и потребность есть и не лень – так расти, систем же сколько угодно: повиси подобно самопронзенному копьём Одину на дереве Иггдрасиль, одержимо попрыгай через скакалку радуги, хибинских шишек, в конце концов, покури. А он все скребется в окошко проваленной явки.

– Очень жаль, что у вас нет этой книги, – с досадой пробормотал старик, – свою-то я в туалете полностью извел... У вас ее совсем нет?

– У меня ничего нет.

– Совсем ничего?

Разрешение на переживание за меня еще не получил, а говорит грустно, где-то уже с надрывом: лишнее, дедушка – унижающе лишнее.

– Лапша есть, – ответил Корнилов.

– Угостите?

А старик не прост, здраво рассортировал: Бардо Тхедол и параноя вместе, а чужая лапша отдельно: «накормите меня своим, потому что мое и ваше для меня рознь».

Ладно, не жалко.

– Заходите. – Корнилов гостеприимно шевельнулся в освобождении прохода. – Ботинок можете не снимать.

– Но на мне нет ботинок.

– Вижу.

Невольно крикнув, старик по-православному, справа-налево, перекрестился плевками.

– Понял вас, – сказал он, – не все, но куда клоните. Вы подразумевали астральный план?

Планировал ли несчастный сирота Эдвард Тич прославиться на всю Атлантику под берущим судьбу на abordаж адским никнэймом «Черная борода»? Догадывался ли он, что его отрубленная голова будет венчать бушприт настигшего его «Генри»? Планировал ли догадываться? Подразумевал ли так кончить?...

– Никакого плана, – ответил Корнилов, – у меня нет. Ни генерального, ни астрального, ни чтобы раскумариться. У меня только лапша есть – упаковок пять где-то осталось. Не хотите, не ешьте.

– Почему не хочу? Лапша, между прочим, очень духовная пища. Медитативная.

Медитировать натошак для него, конечно, неприемлемо. Бесчеловечно это для него – что? как? чего нам ждать- бесчеловечную человечность. Ее.

– Даже так? – наигранно удивился Корнилов. – А вы в курсе, что она еще от голода помогает?

– Я об этом, разумеется, слышал. Но был бы не против убедиться на личном опыте – все в той же манере, как я убедился в том, что желающий спать с малолетними всего лишь извращенец, а залезающий под юбку к старухе уже эстет – на личном опыте я убеждался и в другом, а в отношении лапши я бы убедился...

– В отношении нее мы будем убеждаться на кухне. – Корнилов немного улыбнулся. – Прошу.

Сравнил с собой он и луну
И Млечный путь, и рык совы

Но простонал: «Я не приму
Сравнять с землей мои костры
В душе моей они коптят
А я даю им имена
Одно с надеждой, что простят
Мне все прыжки с того моста
Откуда прыгал, не ценя
Награду жизнью и Тобой
Ну а другие, чтобы зря
Не обознаться кто со мной
Потратил слишком много дней
Стараясь выжать хоть слезу
Из принадлежности к своей...
Своей мечты я не снесу!».

Когда нервные лучи восходящего солнца уже вычерчивали на стекле свои недолговечные иероглифы, Корнилов все еще слушал старика. Марата Семеновича «Бучу». Как совестливо расколовшийся после ознакомления с «Первой заповедью дубинки» подозреваемый, он пересказывал эпизоды своей бурной жизни, и среди совсем не обязательных попадались действительно интересные. Само собой, на любителя, но история о том, как он пиратствовал на Москве-реке, без малейших стеснений вставала в разряд классических. Корнилов слушал и слегка грустил – он чувствовал, что его новая жизнь заканчивается, так по большому счету, и не начавшись. И следующая попытка будет предпринята, если, вообще, будет, далеко не завтра. В чем же была нестыковка? Кто его знает.

Так вышло.

6

Прокручивая в голове беглые стоп-кадры эволюционной значимости всех неподдельно вымерших видов, Корнилов не торопливо продвигался по главной улице страны: машины, забыв о тормозах и светофорах, выпячивали друг перед другом свои скорости; огни стекольных витрин подмигивали собратям с противоположной стороны; Корнилов все не торопился и не торопился. А чему ему радоваться? Вот именно, что нечему – мазохисты, разумеется, возразят, но Корнилов в их ложах-вентах никогда не состоял, и поэтому всего-навсего не торопился, стараясь по возможности никуда не идти. Куда ему идти? На поиски золота инков в солнечный Пайтити? Но там и без него темнее не станет. Или, может быть, его заждались на полярной станции? Сжимают на счастье кулаки и верят: «вот придет Корнилов и вытащит нас из пропасти, куда мы были сброшены нашей отоспавшейся совестью»? Тоже, вряд ли. А вот в бар зайти не помешает. Действительно кому это может помешать? – Корнилов человек не буйный, вопреки непреложным постулатам социума не икающий, да и с дилетантским пафосом «Карбонарий, надкуси оковы!» ничуть не сотрудничающий. Кое-какие сомнения в ее обладании вызывала только платежеспособность, и когда Корнилов гордо уставился на ценник, эти сомнения обрели законченный статус бескомпромиссно неразрешимых. Цены кусали – довольно глубоко и остервенело, за самые сокровенные фибры его благого желания пропустить кружечку и тихо отвалить: они вцеплялись ему примерно в те же места, что и Мике-

ланджело, который «пытался вложить всю полноту своей личности в язык мрамора», однако на одну кружку у Корнилова, пусть еле-еле, но хватило и, испросив пронизывающим взглядом формально-насильственного разрешения, он присел за столик, не полностью занятый двумя помятыми девицами. «Мое дело – полет, ваше – мельтешение под ногами... Да! шучу, шучу... иронизирую» – проходящая между ними беседа прикоснулась к его отнюдь не жаждущим информации ушам; «Они горят изнутри. Словно бы им ввели факел. Через самое потайное место» – как он понял, девицы зарабатывали стриптизом. В общем, прилюдно раздевались. Основываясь на расставленных в их общение акцентах, целью такого способа зарабатывания было проплачивание высшего образования. Корнилов обвинительно усмехнулся. Как бы не обвиняя, а обвиняясь в обвинении; он уже не раз слышал о подобной связке – стриптиз ради образования. Корнилов не исключал, что это правда, но... ну да, ладно, у каждого свои расклады и при любой, даже самой благоприятной для тебя сдаче, ты никогда не пересиличишь улыбочиво комбинирующего на глади зеленого сукна Папашу Шулера.

Я маленький казак
Но стану ли большим?...
И неба крик, как знак
«Мы тоже здесь чудим!»

Между прочим, Корнилов не имел ничего против стриптиза. Он вообще почти ничего не имел. А что касается стриптиза, он сам бы в нем с радостью поучаствовал, будь в нем хоть какая-нибудь необходимость: «Хорошего было... Много? И не упомнишь?... Мало. И не вспомнишь». Да и деньги, судя по всему, неплохие. Сделав экономный глоток, Корнилов мечтательно закрыл глаза. Но помечтать ему помешали – и собственное нежелание, и ввалившийся в бар мордатый гангстер, сразу же начавший выяснять «Who is who, motherfuckers». Документы он, понятное дело, не спрашивал – просто ходил и орал. И не рэперскую телегу. Корнилов задумался: «вот входит человек, смотрит по сторонам и что он видит? Людей. Ну, еще мебель. И как он на это реагирует? Некрасиво реагирует. Не породисто. А почему? Наверно, потому что очень серьезен. Но что значит очень? Это значит, куда больше, чем остальные. А кто есть остальные? Тройка худосочных яппи, две упоминавшиеся девицы и сам Корнилов. Получается, что Корнилов несерьезен...».

Корнилов уже захотел немного погрустить, но громкие действия охраны обрубали его хотение на корню. Вероятно, вошедший гангстером не был. Или только учился им быть – что-то слишком запросто его выкинули на улицу. Даже стукнули ногой пониже спины. Проецируя эту ситуацию на «Хороших парней», где Джимми – Де Ниро, Томми – Джо Пеши, небезынтересно предположить, что случилось бы, если к Джимми, тяжело переживающего гибель своего друга бешеным крушением телефонного аппарата, со всего разбега подскочил один из частных охранников, назидательно говоря: «Уже седой, а хулиганите... Вас в участок или сами разберемся?».

«Лейся, лейся красная» произошло бы тут без рассудительно переноса на потом, ну а девицы, чье настроение с появлением лже-гангстера заметно упало, уже заболтали по новой, и зачем-то – хотелось бы верить, что не из-за сострадания – попробовали затащить туда и Корнилова. В смысле, предложили подключиться к разговору. Корнилов подключился, но не от полного сердца. Он смотрел на свою кружку, на стремительно убывающее пиво и прекрасно понимал, что вторую ему не потянуть. Видимо, именно поэтому его участие в беседе было по большей части невзрачным.

- Вы где работаете?
- Нигде, – ответил он.
- Как это нигде?

– А вот так.

И все в приблизительно том же стиле – в какой-то момент Корнилов ощутил себя мега-букой; это ему не понравилось и, не желая отождествляться в глазах равномерно косоглазящего самосознания с непроставшимся полуслоном-полудраконом, он широко улыбнулся. Девицы были ко многому привыкшие, но широкая улыбка Корнилова заставила их импульсивно поежиться:

– Что-нибудь случилось?

– У кого?

– У вас, мужчина. Конкретно у вас.

Заниматься кормлением ветра, отдавая ему лучшие куски с нечеловеческим трудом собранного урожая, наверное, чушь и атавистичные игры предрассудков, но кому-то уже обрыдло полностью зависеть от независимости.

– С чего вы это взяли? – спросил Корнилов.

– Улыбка у вас неадекватная

Корнилов придирчиво окинул себя взглядом со стороны: голову, сердце, либидо.

– Чему не адекватная?

– Всему.

– Но чему-нибудь из всего, – сказал Корнилов, – в какой-то степени адекватна даже моя улыбка. Она вас шокирует?

– Нас ничего не шокирует.

Когда герой Литаолан напал на пожравшее все человечество – за исключением самого бойца и его старухи матери – чудовище, и будучи тут же проглоченным, проложил себе путь наружу ржавым мечом, между делом освобождая еще не успевшее перевариться население мира, вы бы тоже не дрогнули? Поглядел бы я на вас при том освещении.

– Значит, – спросил Корнилов, – все отлично?

Девушки сочувственно отяжелили небольшие глаза: им явно не желательно, чтобы их застигли на горящем операционном столе. Но придется. Поскольку они к нему привязаны, и успешно сделанная операция уже ничего не изменит.

– У нас, – ответила темноволосая вакханка, – да, у нас все отлично: и деньги есть, и будущее, и не единый мужчина после ночи с нами в педрилы не подался. А вот у вас, уважаемый, едва ли.

– Так заметно?

– Как на ладони.

Я живу и не знаю ничего другого, но причем здесь ладонь? Корнилов всегда чутко улавливал присутствие подвоха, болезненно цепляющего на голую грудь очередной значок за «Паразитирующее расхождение с вымыслом». Да и пиво безвозвратно кончилось: сказав им, но не вслух, ни к чему не обязывающее «Счастливо», Корнилов встал и почти ушел. В дверях он оглянулся. Напряженность девиц подтвердила своевременность его ухода, но тут произошло нечто. Ничем до этого не примечательный бармен мимоходом включил – вероятнее всего, по ошибке составителей его рефлексов – негромкую песню. Нельзя сказать, что «Slipping away» была песней песен; как поет Кит Ричард общеизвестно – ну хотя бы кому-нибудь – но это было единственным, что могло прихватить Корнилова за душу и попросить его задержаться в этом обнищавшем возрождением месте.

Вертикально прислонившись к дверному косяку, Корнилов слушал. Гнусавый голос главного «Стоуна»; неугомонный ветер, гоняющий в только ему понятных направлениях безвольный снег, богобоязненное жужжание электрической проводки; сытый смех сексуально удовлетворенных ангелов...

Корнилов не просто слушал. Он слышал... я слышал... слышали?... да... вы, барин, с апломбом-то не перегибаете – не на сносях все-таки? И даже то, что по просьбе одного

из яппи, потребовавшего что-нибудь поактуальней, бармен обрубил песню на середине, отнюдь не поколебало его тихого удовольствия. Удовольствие это хорошо – его предвкушение заставит унылую выдру... вы о чем?... пересчитывать сигналы с Альдебарана... ну, вы и жук... сверх меры не размышляя о хлебе насущном, да и влечению облегчить жизнь смертью мотивированно воспротивится. Из всего небогатого выбора жизнь все же сомотрится побогаче.

В чужой для всех стране
Один лишь есть вопрос:
«Ты сможешь жизнь стерпеть
Иль **смертью** крикнешь SOS?»

При замене последней строчки на «иль **смерти** крикнешь SOS», смысл хотя и меняется, но не животворяще. А Хромой все играет на мандолине, а нас не догонит никто, кроме тех, кто уже догнал – бурый медведь белеет от затронутых химзачисткой ягод; горячая больная плоть опалается универсальным логосом; девицы пьют коктейль и ни о чем не плачут. Доказать малышам, что я не всегда закрыт в общении? Оставить им номер телефона? Но он уже с неделю отключен за неуплату... Это воспоминание Корнилова освобождающе охладило; недаром же для проветривания помещения у умных людей («*Себя-то вы к ним не относите – а, барин?*») только один выход – окна позакрывать. В конце концов, Корнилова ждала улица.

Рассматривая хмурустойчивую обстановку без совокупления (не) сложившегося положения вещей с попутным сирокко иллюзий, улица его не так, чтобы ждала: не сказать, что она его отвергала, но и не жаждала; не похлопывала по плечу обезьяньими ужимками неона – текла от Белорусского к Кремлю, и выбрасывала наскоро расседланные трупы идущих против течения под поджатые ноги сидящих на берегу. Но Корнилов не роптал, ведь все закономерно: у улицы своя жизнь, тем более, у этой – Корнилов не вписывался в нее даже боком. И поделом.

– *Знаете, барин, а в вас, похоже, снова никто не нуждается. Как в настырном онкологе, который из-за тотального отсутствия пациентов, экспериментирует лишь на себе самом.*

– *А на себе-то с какого?*

– *С такого... Чтобы квалификацию не потерять.*

– *Выходит, она у него есть?*

– *Э, барин, тут вы меня не подловите – я не для того вас окликаю, чтобы елейно расхваливать. Кого-нибудь еще поищите.*

– *Не буду я никого искать.*

– *Времени жалко?*

– *Жалко. Но не своего.*

Нырнув в метро – не зажимая нос, но и не дыша лишнего – Корнилов увидел чье-то размытое отражение на треснувшем стекле подъехавшего поезда. «Стекло, что стекло? треснуло ровной кривой; поезд, вы уже о нем? его принесли на пылающей лопате? неплотно прислонился к перрону поднабрать периодически сдающихся волонтеров езды в ускользящее дальше».

Чье это было отражение – его ли собственное? Его ли? Корнилов не разглядел, уж больно настойчиво, и настойчиво больно, его подталкивали в спину.

В вагоне Корнилов встал. Он бы лег, но и усталость пока не прозрела, и детей в его окрестностях немало: ему не хочется впустую травмировать их детство. А это еще что за дурковод? патлатые, перехваченные заскорузлой тесемкой волосы; просторное, обнажающее грязную рубашку пончо; оранжевые очки с перекрученными изолентой душками.

Засовывая руку в полиэтиленовый пакет с багряной надписью «До наркотиков дошел я сквозь секс and рок-н-ролл!», он доставал оттуда пряники. Доставал и ел. Странно, но хип-

стеры еще водятся – часть крошек оседала на его рыжих усах; другая, гораздо более объемная, накрывала собой пол вагона, но «Нил Кэссиди» не уделял этому значительного внимания – доев один пряник, он достает второй, прикончив второй, третий: конвейер работал безотказно, и непокорная индивидуальность его запустившего, как и прежде, повторяла за небом пренебрежительные мантры отказа мимикрировать – он грызет пряники, Корнилов находится с ним по разные стороны баррикад; «Нил Кэссиди» не мучается нервным истощением, Корнилов не так давно беседовал с одиноким дрессировщиком змей Дубильниковым, сказавшим ему: «Мои змеи могут меня умертвить. Без вопросов – как только я захочу. Я бы не против, но мне пока не за кого умирать: у меня нет любимой женщины. Мужчины и того нет».

«Как насчет умереть за себя?».

«Не пойдет... За себя мне и пожить достаточно».

Сошел «Нил Кэссиди» за одну станцию до Корнилова. Наверное, пряники кончились. А может так и было задумано – интересно, когда он загнется, кто-нибудь придет на его похороны?

Или не интересно.

Задумываясь о таких приятных мелочах, Корнилов неспешно приподнялся на воздух: улица уже не главная, но снег и здесь снег, голове и здесь не дадут отдышаться, интенсивно отвлекая ее чуждыми разговорами – особенно те двое в лыжных шапках: идут в каком-нибудь полуметре от Корнилова и беседуют не записками, в голос. Ну, и чем же обмениваются монстры их памяти?

– Она уже подобрала подвенечное платье, помыла палец для кольца, но вместо официального предложения услышала от меня нечто иное: официальным тоном, но иное. Чувствуя, что поступаю непосредственно, я сказал ей: «Мы не будем расписываться – моя фамилия слишком коротка и мала, чтобы ее использовать и как твою, а разрешить тебе остаться под своей фамилией для меня недопустимо – не знаю почему, но таковы мои принципы». Тебя же, Сергей, я уважаю.

– За что?

– За твою Татьяну, за выбранную тобой женщину. Она же никому не нравится – у нее и фигура ужасная, и голова не варит, и в глазах ужас, как у мумии перед случкой... Но главное, чтобы она тебе нравилась, правильно?

– Правильно...

В отличие от Корнилова, задержавшегося возле зоомагазина посмотреть на выставленный в витрине аквариум, они не остановились, и ему были слышны лишь три – по одной на рот, но на первый все же две – напоследок оставленные фразы.

– Уважаю тебя, Сергей, ты все-таки человек. Добрый человек – не избегающий проснуться впотьмах. Но она тебе что, действительно нравится?

– Да какой там...

Мертвое дерево качается, гнется, ждет кого бы ему прибить; одному не хочется умирать; аквариум очень убедителен – с рыбами, пузырьками, радостными перемещениями опровергающими сентенцию «Тебе сойти с ума просто. Почему просто? Он у тебя крошечный». Они отказывают ей в правдоподобию с вызывающе трезвой нацеленностью, и им плевать, что выход из жизни открыт двадцать четыре часа в сутки; абидосский храм Сети I разыскивается на карте кибер-пространства, а единственному счастливому (?) сперматозоиду, перехитрившему миллионы прославивших теперь неудачниками (??) собратьев приходится воплощаться на белый свет очередным черным пятном: «Не удивляйся, Марина, если я уйду в монастырь... Иди. Когда-то они использовались государством в качестве сумасшедших домов – напоследи об этом настоятелю. Ради тебя они не преминут потряхнуть стариной» – Корнилову к тому же хочется есть: хипстер своими пряниками аппетит, конечно, поумерил, но на его природе это сказалось лишь недолгой отсрочкой прорыва на идеальные позиции оскорбительного давления тленным.

Оскорбляя Корнилова действием – противопоставить им нечего: духом вряд ли отобьешься от тела без потери последнего – ощущения выравнивания всего себя с усредненным млекопитающим сводили его поблекшие мысли к: дунайской ухи бы сейчас. Или какой-нибудь растягай. А тут еще – несносно, понять бы самому, как несносно – вспомнился пассаж из «Будденброков» Манна... какого-то из них: «Прислуга меняет тарелки. Подается гигантский краснокирпичный окорок, горячий, запеченный в сухарях...».

Корнилов едва не упал в обморок: ему представилось, что он самый виповый клиент в «Ресторане аристократов» по ту сторону реальности, и без него никак – если он откажется отведать фуа-гра, все крутящие землю чернорабочие объявят забастовку и их места займут наемники с кабаньих планет. Нетрудно догадаться, с какими намерениями. И Корнилов, идя на встречу покрасневшим от слез землянам, заставляет себя съесть кусочек превелико ненавидимой им печени. Его печень тоже едят – и под водку; вот он и ненавидит функционировать в одной икэбане с убийцами.

«Ура вам, Корнилов! Слава вам... тоже!... Спокойно! Меня не будет распирать от самоуважения, если я завалю с одного удара инвалида или страуса. Не будет. Я прекрасно себя знаю» – отовсюду слетаются послы дружественных галактик; заламывают руки, делают умильные мордочки, кропотливо вытирают ему рот: не тряпкой – они протирают ему уста парадным знаменем Солнечной системы, приговаривая при этом: «Спасибо тебе, о Корнилов! Ты спас больше, чем Землю. Ты спас добро!». Корнилов, разумеется, переспрашивает: «Чье добро? Мне там, случайно, ничего из этого добра не полагается? А-то мне все чаще нечего есть». Панургово стадо в страхе падает ниц и истово причитает: «Прости нас, о Корнилов! Прости нас идиотов, за то, что ты нас не правильно понял! Мы имели в виду то добро – то бескомпромиссное добро, что не зло!».

Корнилов чуть-чуть разочаруется, но скандалить не станет: не такой он человек. Порода не та. Да и имидж нужно поддерживать – как никак Землю спас. И некое добро. Но обольщаться пока рано. Сколько на холостые стрельбы не выезжай, меткость ты этим не проверишь – как-то идя на свидание, Корнилов спросил у обещавшей дожидаться его «Быстрой реки» Логуновой: «На выходе из „Менделеевской“ нелегко разминуться, он там один, но мы с вами еще не виделись, а с человеком, которого я никогда не видел, мне было бы проще встречаться, если бы я обладал предварительными сведениями хотя бы о чем-нибудь, помимо его пола» – согласившись с весомостью высказанных им опасений, Полина взволнованно прошептала: «Я не скажу откуда у меня ваш номер телефона – замечу только, что мне дал его не мужчина. Можете быть уверенным... Так, в чем вы будете?».

«В себе. Вы, надеюсь, тоже.

«И не надейтесь, Корнилов – вы, конечно, едва ли связываете свои надежды непосредственно со мной, но в себе я ни за что не буду. Мне не в себе свободнее».

«Намного свободнее?»

«Не так тесно».

В общем, домой, где на стене висит небольшой штурвал со встроенным в него зеркалом и проходящим по верхней кромке его окружности «Wish you bon voyage!» – подойдя к зеркалу вплотную, а затем постепенно отдаляясь, Корнилов не раз впадал в лирику – где на спинке дубового кресла, не снимая фески, сидит задумчивый тигр; где ломоть парной свинины безрадостно поджидает, когда же его изжарят до степени съедения; где подчеркнуто никого нет – надо ли там кому-нибудь быть? Корнилов свою квартиру уже не сдает: материальное ему жить в ней невыгодно, но пока у него есть немного денег, он какое-то время продержится без новых поступлений – в его квартире Корнилова никто не обнимет: добраться бы до нее, не издохнув.

И снег припомнит

Как он таял —

Сливаясь с смертью
Душу маял
Не унижаясь и не смея
Весне перечить
Но зверея
От ровной речи
Времен года
Его поймавших
В рамки схода
С ему доставшейся удачи
Продаться жизни
И со сдачи
Купив себе немного смысла
Признать за небом
Роль статиста.

Основная проблема в деле его ходьбы до дома состояла в том, что Корнилов был вынужден идти туда через парк. Любителей успокоить душу оккультным расчленением он не опасался – они если и попадались, то не ему – да и дорога намечалась отчетливо проходимой: нюанс не в этом. В парке есть скамейка. Скамейка и скамейка, ничего исторически значимого: на ней и ловец отрекшихся... уже?... от бани пакибытия... беда... лососей не отдыхал, и святой отец Кигунду с архиепископом Лувуном, чьи отрезанные головы держал у себя в холодильнике «Большой Дада» Амин, если и присаживались, то не касаясь. Но с нее, стоявшей в окружении могучих деревьев, очень удобно смотреть на звезды. Выглядывая сквозь заснеженные ветки, они выглядят как-то по-особому. Не так, как над вещевыми рынками. По-другому... да ну? ... по-настоящему... вот оно что... Но вы, барин, не отчаивайтесь. Лучше почаще приходите в психиатрическое отделение – они вас всегда без очереди примут. Никаких инъекций, просто побеседуют. Для начала.

Такая вот скамейка. К слову – не тому, которое было вначале – не пользующаяся зимой какой-то громадной популярностью. Чтобы на нее присесть, Корнилов – по зимним погодам количество желающих сокращалось вплоть до него одного – отнюдь не терял времени на занятие очереди. Приходил и садился. Не заучивая наизусть безличный панегирик «Надежда моя, тьфу на тебя» – и пусть некоторая ложь поправдивее правды, а равнение на Свет не позволяет объективу глаз обрести былую резкостью – пудель на поводке, питбуль без одного, и все довольны – но внутри тебя достаточно музыки для повторения пройденного не тобой теперь уже своим гусиным шагом: да, пять тысяч лет тому назад с Земли виднелось обе луны... обе? не десять, не двадцать?... однако наполнять жизнь изнутри возможно и глядя на ветер. Железо плавится. А кое-какие воскресные сны возвращаются вразвалку и в дождливый понедельник.

...она настойчива, но не по его душе, а по его телу: Корнилов ее раньше, наверное, не видел, но она ведет себя с ним, как дома, и глаза, глаза, глаза у нее слишком не здесь – если в них что-то и здесь, то только жестокая настороженность; закрытые, но вместе с тем и не обделяющие вниманием; Корнилову она осязаемо нравится, его... самонадеянного... скучного... волнует в малышке лишь женщина, в ней хватает кого-то и помимо... друга... помимо женщины; она заставляет его напрягаться, тем самым и расслабляя, но зачем же, к чему; Корнилов о себе, как о мужчине, думает не приниженно, но с ней все состыковалось чересчур поспешно; волосы конной, губы Африкой... что?... толстые губы – Корнилов вообще, не помнит, как она появилась в этой зеркальной комнате; он даже не помнит, как здесь очутился он сам, но с ним-то такое случается, а вот она... она призрак, девица – Смертница, правая рука

самой Смерти, и Смертницей ее называли не в силу того, что она работает под гнетом постоянной опасности не выжить: она и так не жива; Корнилов молча рассказывает ей о себе, дева лучше узнает о нем, когда он такой, как сейчас; она с ним, по-видимому, боится сойтись, не вводя его в экстаз – заказ на него она получила, однако о Корнилове там наслышаны: жить он как бы не стремится, но и с бесконфликтной сдачей своей жизни он тоже не поторопится, и она пришла... смешно, ей богу – по его душу она пришла, она...

– Милый, милый... – постанывала она. – твой дух не уйдет с тобой в могилу... Вот так тебе хорошо?

– Ты, девочка, старайся – я знаю, кто ты такая, ты знаешь, кто я такой, но ты все же старайся.

Она сразу же осекается с ласками; шахматы... у меня есть... научи меня, Корнилов, их передвигать... как Тристан Изольду – ей, может быть, не хочется прекращать. Не хочется, прекращая, упростить.

– Знаешь? – спросила она.

– Знаю, девочка, и это знаю. Как там хозяйка, не умаялась? Привет ей. Она была бы рада увидеть меня у себя? Ха-ха! Ха-ха... хо... хорошо... да-да... теперь плохо...

Малышка сделала резкое движение к его горлу, но усмотрев в его спокойном взгляде некое предостерегающее зверство, остановила руку на полпути: расстроилась, потерялась, мечтает отсюда сгинуть – Корнилов ей... Корнилов ей действительно улыбается, она же своими ласками... ну, не безразлично его тело к ее роскошному воплощению – она взирает на него с панической опаской, а Корнилов... Корнилов не уговаривает ее словами... ему так проще...

– Ты что, Корнилов, – пытаюсь вырваться, прокричала она, – ты что делаешь, я же призрак!

– Пускай...

– Я призрак!

– Призрак, призрак...

– Не смей, Корнилов, хуже... себе... сделаешь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.